ЛИДИЯ ПЕРСИДСКАЯ

КНИГА О БЫЛОМ, ТАЙНОМ И ВЕЧНОМ

Автобиографическая повесть



1969

КНИГА О БЫЛОМ, ТАЙНОМ И ВЕЧНОМ

ЛИДИЯ ПЕРСИДСКАЯ

КНИГА О БЫЛОМ, ТАЙНОМ И ВЕЧНОМ

Автобиографическая повесть



Вашингтон 1969

Эта книга напечатана в количестве 500 экземпляров
в типографии:
A. ROSSEELS PRINTING COMPANY
70, rue du Canal - LOUVAIN - Belgium

Склад издания:

Victor Kamkin, Inc
1410 Columbia Road
Washington, D.C. 20009

ОТ АВТОРА. Повесть эта — документальная, автобиографическая — изображает долгий ряд необычайных душевных переживаний автора, в течение периода времени с 1930 года и до сегодняшнего дня, сначала в Советском Союзе, а с 1943 года — в эмиграции.

Некоторая способность автора к восприятию сверхчувственных явлений обнаружилась благодаря случайной встрече автора с героем этой повести, сильным, необычайно одарённым ясновидцем, который, однако, и сам не знал ничего, до встречи с героиней повести, о собственных сверхчувственных способностях, равно как и вообще об оккультных явлениях.

Автор изображает свой духовный опыт в форме художественных образов, создавая таким путём наиболее полное и яркое представление об этих таинственных, но вполне реальных и глубоко потрясающих душу явлениях, представляющих общечеловеческий интерес и значение.

О самой себе автор говорит в третьем лице, как бы наблюдая себя со стороны, и не щадя, отдает себя целиком на суд читателя, в надежде, что труд этот будет использован для научных целей в области философии и парапсихологии.

Лидия Персидская

На дворе метель. Вьюга неслась, кружилась, заметала дорогу, сугробами вырастала на пути и мела, мела, мела... А в доме стоял визг вьюги, вой в трубе, плач в печке, писк в оконных щелях. Пятый день на дворе не унималась метель.

Ей не спалось. В комнате было холодно, она ёжилась под стареньким ватным одеялом с протёртым верхом и лежала с открытыми глазами. В доме давно уже все спали. Бабушка там за стеной. Варенька с Игорем в проходной комнате, и они — она, муж, Георгий Павлович, и их мальчик, Люлик.

Непостижимый ребёнок, совершенно непохожий ни на одного мальчика в мире, как будто отрезанный кусочек чьей-то живой, пламенной души. Удивительный ребёнок!.. Если бы она только могла сохранить его среди этих страшных, надвинувшихся со всех сторон лишений. Жутко подумать, как стала бедна и убога их жизнь среди рухнувшего старого мира. И вдруг — этот ребёнок... Нежный, хрупкий, как драгоценный цветок, подарок природы среди снежной метели.

Она приподнялась со своего тонкого и твёрдого как доска матраца и взглянула на деревянную кроватку, выкрашенную в белую, масляную краску. Это Георгий Павлович выкрасил сам. Где-то достал краску, умудрился достать. Что за жизнь!.. Разве это жизнь?.. Но надо бороться, нельзя падать духом и вешать нос на квинту, как говорит бабушка. Она взглянула на кроватку и сквозь деревянные перила увидела раскрытую голую спинку ребёнка. Господи, в такой холод раскрылся!.. Она торопливо набросила на него одеяло и плотно, со всех сторон подложила его под лёгкое детское тело.

Он крепко спал. Даже в темноте она различила его нежный детский овал, его глаза, всё его милое детское личико. Не проснулся. Ну и пусть спит. Георгий Павлович тоже спит, слышно даже как дышит, негромко, но слышно. Весь день работал, а после лекций это утомительное собрание до позднего вечера.

Часы за стеной, в комнате, где спит бабушка, пробили пять. Пять часов, — через час вставать и идти в очередь за хлебом. Уже спать нечего. Как то она доберётся до лавки. Снег, снег и снег, сколько его намело за последние дни. За метелью и света Божьего не видно и страшно. Сколько недобрых людей теперь за кусок хлеба убить готовы каждого, а она будет нести целый хлеб. Паёк — свой, бабушки, Георгия Павловича и Люлика. Всегда ей больше всего страшно за хлеб, — а вдруг вырвут из рук, что тогда делать ?.. Всем остаться без хлеба ?.. От беспокойных мыслей сон у неё совсем проходит, и она снова открывает глаза.

Свет от фонаря с улицы пляшет на стене и освещает кровать Георгия Павловича. Он спит крепко, укрытый поверх одеяла ещё старым пальто, пиджаком и даже брюками. Всё навалил на себя, всю одежду, какая была под рукой, чтобы только согреться и уснуть. А она не может так и вот не спит, ноги как лёд и всё тело застыло от холода.

И снова часы — раз . . . — Половина шестого. Теперь нечего уже лежать, надо вставать. А не хочется, так не хочется вылезать из постели на холод.

Она протянула руку к краю рояля. Рояль как раз под боком, упёрся прямо в кровать. В комнате нет ни одного свободного места, всё занято, все углы. Но рояль ей не мешает, — единственная роскошь в их убогой жизни. Она протянула руку к крышке рояля и, пощупав одежду, взяла её под одеяло. За ночь всё остыло, всё холодное как лёд, но делать нечего, надо одеваться и вставать. Она отбросила одеяло, вскочила с кровати и всунула ноги в туфли. Брр. . . как холодно ! Хлебная карточка лежала ещё с вечера на пюпитре, только бы не позабыть её. Она взяла карточку,

набросила на себя старую шубку с меховым воротником, замотала голову башлыком и на цыпочках подошла к двери.

В восемь часов у Георгия Павловича лекция, надо успеть принести хлеб, разжечь примус, что-то приготовить ему перекусить, а главное — хлеб, успеть получить хлеб. И с керосином плохо, на утро может быть ещё хватит, а после снова очередь. Хорошо ещё, если в такую метель подвезут во-время бочку с керосином.

Она открыла наружную дверь и осторожно, чтобы не стукнуть, прикрыла её. Кажется никого не разбудила, даже бабушку. Та всегда просыпается, когда она выходит, и кричит ей зловещим шёпотом: — не простудись же ради Бога! . . — Самое страшное сейчас — заболеть: ни лекарств, ни денег, ни тепла, ни пищи, просто невероятно . . .

Парадная дверь уже открыта, кто-то наверное сверху вышел и не прикрыл. В открытую щель намело снегу, ещё немного и совсем нельзя будет притворить дверь. Она попыталась из всех сил прихлопнуть её, но дверь грузно осела в снегу и осталась, как была, открытой.

На улице пусто, ни одного прохожего, только снег метёт и метёт. Пожалуй, она будет ещё первая в очереди. Наверное их часы поспешили, и ещё нет шести. Она подняла как можно выше ногу и храбро ступила в глубокий, никем ещё не протоптанный снег. Только бы выбраться на колею трамвая, там не так нанесло и будет легче идти. Она сделала ещё шаг, ещё и, загрузая по колени в снег, выбралась на трамвайную колею. Она свободно может идти до самой хлебной лавки. Лавка недалеко, на углу их улицы. Там всё знакомое, толко бы благополучно добраться и не потонуть в снегу.

Ещё издали она заслышала гул голосов. Это очередь, а она подумала, что будет первая. Ого, сколько уже набралось людей. Она подошла к очереди и громко спросила:
— Кто здесь последний ?

Какая-то баба из очереди, вся синяя от холода, с ногами замотанными в тряпки, обиженным голосом визгливо крикнула ей в ответ: — Тут нет последних, все первые ! . .

Она смущённо поспешила исправить свою ошибку. Уже не в первый раз она допускает такую оплошность. Она прошла в самый конец очереди и учтиво спросила: — Вы крайний ? ..

Впереди неё стоял кто-то. Он очень высокий, выше всех в очереди. Этот кто-то быстро обернулся к ней и, усмехаясь, сказал ей: — Если не ошибаюсь, последний.

— Крайний ? — переспросила она. — Последний ! .. — ответил он и улыбнулся. Она тоже улыбнулась и стала за ним. Снег мёл, и если бы не свет от электрического фонаря, на дворе было бы еще совсем темно. Впрочем, от снега даже и в такой темноте казалось виднее.

Снег, снег и снег. Полные калоши. Вот и у него ноги все в снегу. И почему он стоит в очереди ? Неужели никого не нашлось в доме, чтобы заменить его ? Она с любопытством посмотрела на него. Замечательная фигура ! .. В первый раз она видела его здесь в очереди. Неожиданно он обернулся и его глаза в очках внимательно устремились на неё. Она смущённо перевела свой взгляд в сторону, но его глаза упорно смотрели на неё. Он даже повернулся спиной к очереди и лицом к ней.

Что за чудак ! .. А лицо удивительное, так и хочется смотреть на него. Кто бы это мог быть ?

И набравшись храбрости, — в очереди ведь всё можно, — она, неожиданно для себя, спросила его: — А вы каким образом ? .. Разве у вас нет никого ? ..

Он усмехнулся и тем же тоном, что и она, ответил ей:

— А вы каким образом ? .. Разве у вас нет никого ? ..

Это вышло так, как будто они давно уже знакомы и очень хорошо знают друг друга, но только им было странно, каким образом они встретились именно здесь, в таком нелепом месте, в шесть часо утра, в снежную метель, среди этой унылой, плохо одетой и голодной очереди за хлебом.

Она спрятала в меховой, мокрый от снега воротник лицо и молчала. А он смотрел на неё просветлевшими глазами и усмехался. Удивительная встреча.

На нём была тёплая шуба с бобровым воротником и

меховая шапка. Ему не холодно, а ей казалось, что тепло шло от него и грело. У него низкий, ласкающий голос. Он сказал, что случайно стал в очередь — проходил мимо и вспомнил, что дома наверное нет хлеба, а он всю ночь провозился с больным, очень тяжёлый случай. Он — доктор из Георгиевской больницы, Одинцов, Фёдор Сергеевич. Так вот кто он!..

Очередь медленно подвигалась. За ней уже вырос длинный хвост, но она не оборачивалась. Больше они не говорили. Снег шёл им прямо в лицо, и они не пытались стряхивать его.

Из очереди кто-то кого-то выталкивал, женский голос пронзительно кричал, просил, умолял пропустить её без очереди... У неё маленькие дети, голодные, в доме нет ни куска хлеба, и ей не на кого оставить их. Чей-то женский голос, не менее пронзительный, отвечал ей: — И ничего с твоими пацанами не случится!.. У каждого есть дети!.. Плач, слёзы, крик, брань.

Он низко наклонился к ней и тихо спросил: — И вы часто так?.. Она улыбнулась ему и кивнула головой: — Каждый день!.. — прошептала она... — Каждый день?.. — содрогаясь, переспросил он. Она блеснула в ответ белыми прекрасными зубами и засмеялась: — А кто же станет в очередь на керосин, на сахар, на масло для ребёнка?.. — Для ребёнка?.. — переспросил он, и его очки снова устремились на неё.

Теперь они стояли уже у самой двери хлебной лавки, заветной двери, откуда шёл запах свежего хлеба. Наконец-то!.. Она вошла первая, а он за ней. Она протянула завмагу свою хлебную карточку и получила хлеб. А он протянул руку с деньгами, но без хлебной карточки, и хлеба не получил.

— Здесь не толкучка, гражданин!.. — строго заметил ему завмаг, и не спекулянты, а паевой хлеб. И всем известно, что без хлебной карточки хлеб здесь не выдается.

Та же баба из очереди громко и возмущённо крик-

нула: — А ещё барин!.. Топили их, топили и всё ещё не всех перетопили!..

Больше всего ему было неприятно, что он при ней попал в такое смешное, глупое положение. Стоял, стоял и ничего не получил.

Ей, не меньше чем ему, было неприятно. Но вдруг счастливая мысль осенила её, и она быстро протянула завмагу свою хлебную карточку: — Пожалуйста, — сказала она, — отпустите мне паёк и на завтра; я обменяюсь своим хлебом с доктором. Это доктор, он провёл всю ночь у постели больного и теперь нуждается в хлебе.

Хотя и не полагается давать хлеб за день вперёд, но на этот раз он даст. И завмаг выдал ей хлеб. Она передала его доктору.

Они вышли из лавки и на секунду остановились в стороне от очереди. Он неловко держал хлеб в руках и благодарил её, а она смотрела на него и не могла удержаться от улыбки. Господи, до чего он был смешён с этим хлебом в руках, который ему не во что было завернуть и некуда девать. Такой высокий сам, а такой... Она не находила подходящего слова. Как хорошо, что она смогла его выручить.

— Я совершенно — сказал он — выпустил из виду, что хлеба без карточек мне не отпустят. Я очень вам благодарен, очень и сегодня же доставлю вам свой хлеб на квартиру.

Разве можно выпустить из виду, что хлеб выдается только по карточкам?.. Господи, откуда он?..

— Дать вам авоську? — спросила она. Он улыбнулся и, в свою очередь, спросил её: — Какую авоську?..

Он не знает, что такое авоська!.. Удивительный человек. Она показала ему свою сумочку, связанную из тонкой бечёвки, и вынула свой хлеб. Она может обойтись и без авоськи, она недалеко живёт от хлебной лавки. — Это и есть авоська?.. — Авось — пояснила она, — авось достану что-либо, и тогда есть куда положить и в чём принести

домой. — Без вас и авоська не помогла бы, — сказал он, улыбаясь.

Она смотрела, как он, неловко увязая в снегу, с авоськой в руках уходил от неё, и сама, погружаясь в снег, медленно направилась к дому.

Георгий Павлович уже встал и сам открыл ей дверь. — Очень замёрзла ? — с беспокойством спросил её.

Она оживлённо улыбалась и, вся занесённая снегом, с мокрым от снега лицом топталась в передней, стараясь стряхнуть с себя снег. В комнате после улицы ей казалось тепло, она вошла в комнату бабушки и разожгла примус. Руки у неё были красны от холода, и она долго и неловко чиркала отсыревшими спичками.

— Очередь большая ? — спросила бабушка. — О да, ответила она и улыбнулась про себя. Она ничего не сказала о том, что отдала хлеб, завтрашний паёк. Она знала, что только возмутит этим Георгия Павловича и бабушку. — С ума сошла, — скажут, — и так еле дышим, ещё отдала хлеб ! — Лучше не говорить, пусть само собой выяснится, и она тогда расскажет.

Она внесла примус с чайником в их комнату. От пара в комнате стало теплеть. Георгий Павлович торопливо хлебал горячий чай, ему надо было иметь не меньше как сорок минут, чтобы успеть добраться до университета. Трамваи не ходили и тротуары не были расчищены. Пережёвывая хлеб, он допил чай и поспешно вышел.

Всё шло как всегда, как каждый день. Надо было покормить Люлика, убрать комнату, растопить печь и снова идти в очередь, уже за керосином. Но на душе у неё было хорошо, так хорошо, как будто не было ни метели, ни холода в комнате, ни бесконечной, утомительной домашней работы.

Она улыбалась и думала: — Ведь он не спросил её адрес, как же он доставит ей хлеб, ведь он не знает её имени и фамилии. Можно только вообразить, как он будет смущён, что он не сделал этого. Она улыбалась и напевала, а бабушка смотрела на неё удивлёнными глазами: — С чего

бы это? .. — Но ей хорошо было, так хорошо, как никогда ещё не было.

В одиннадцать утра мимо их окон проехала бочка с керосином. Она услыхала гудок, это трубил в рожок керосинщик. Со всех сторон из домов бежали женщины с разнообразной посудой в руках. Они спешили занять очередь. Слава Богу, в такую метель у них будет керосин.

Она тоже поспешно набросила на себя бабушкину кацавейку, подхватила на ходу бутыль и выбежала на улицу. Никогда она не может поспеть за этими женщинами. Возле бочки с керосином уже стояла не очередь из людей, а длинная вереница разнообразной посуды. Здесь были и бутыли и вёдра, и старые тазы, и кастрюли и даже ночные горшки, — всё, кроме бидонов для керосина.

Она поставила на тротуар и свою бутыль с отбитым горлышком, особая примета, и повернула домой. Теперь не скоро дойдёт до неё очередь, можно погреться дома. Возле двери их дома она неожиданно столкнулась с доктором. Он стоял на лестнице и искал номер их квартиры. В руках у него был свёрток, завёрнутый в газетную бумагу.

Боже, она не догадалась раньше переодеться и в этой короткой старой юбке и бабушкиной кацавейке... При свете дня она заметила цвет его глаз, они были не серые, а голубые, но как серьёзно и внимательно они смотрели на неё, как будто хотели проверить впечатление от неё при дневном свете. Но лицо у него было другое, совсем иное, официальное и чужое. Он поблагодарил её за хлеб и, слегка прикоснувшись рукой к шапке, откланялся. Вот и всё.

Оно не успела даже спросить его, как он нашёл их адрес, и напрасно она думала, что он зайдёт и познакомится с ними. Да и где, где принимать его: в спальне или в комнате бабушки, где негде повернуться?

Она не успела даже спросить его, как он нашёл их дверью, с хлебом завёриутым в газетную бумагу, и не решилась войти в дом. Нет, она не может сейчас войти в дом, её неудержимо тянуло вслед за ним. Она сделала два шага и спустилась по ступенькам к двери на улицу.

Он ещё не ушёл. Она увидела его высокую фигуру, он не спеша удалялся от их дома в сторону больницы. Неужели она больше никогда его не увидит, и этот хлеб завёрнутый в газетную бумагу — всё, что осталось от их встречи ? Нет, это не могло так бесследно пройти для них. Какие у него умные глаза и как пытливо и хорошо они смотрели на неё.

Она не колебалась больше и пошла за ним. Их разделяло теперь всего пол-квартала, но и эти пол-квартала между ними показались ей раскрывшейся перед ней пропастью. И всё же она шла за ним. Он перешёл улицу и неожиданно вдруг обернулся. Так и есть. Он заметил её, ей показалось даже, что он улыбнулся. Нет, этого не могло быть, он не улыбался, он ничего не видел. Он повернулся к ней спиной и ускоренным шагом направился к больнице. Теперь она видела уже больничное здание, этот старый монастырь царского времени, мрачное каменное здание, обнесённое от мира высокой как стена кирпичной оградой. Так вот где он работает ! . .

Она смотрела пустыми глазами на тяжёлые ворота, на узкую как щель калитку и на мгновение увидела его исчезающую в калитке высокую фигуру. Ушёл . . . Не идти же за ним в эту щель, а дальше ? . . И всё же она перебежала через улицу и стремительно вошла в калитку. Так и есть, он ещё не вошёл в здание больницы. К зданию вела прямая дорожка с высокими старыми деревьями по бокам. Это был бывший монастырский сад.

Он шёл по этой дорожке, замедляя шаги, как будто тоже, как и она, хотел остановить время. Откуда пришло это наваждение ? . . Резкий ветер со снегом дул ей в лицо. Сквозь старую бабушкину кацавейку пробивался нестерпимый холод. Нечего сказать, хороша она в своей кацавейке, с хлебом в руках и синим от мороза носом. Но он не оборачивался больше и вошёл в больницу. Она поспешно повернула обратно и почти бегом направилась домой.

Как скучно и буднично было дома ! — Что, — спросила бабушка — заняла очередь ? — Она читала Люлику. —

Да. заняла . . . — сказала она упавшим голосом и развернула газетную бумагу. Так и есть — хлеб и авоська. Её хлеб. Несомненно, он даже не притрагивался к нему. Вот чудак ! .. И нужно было ей разговаривать с ним ! Она незаметно положила хлеб в шкафик для провизии в передней, так чтобы не видела бабушка и, не снимая пальто, направилась к выходной двери. Её неудержимо тянуло на улицу. С ума сошла !

— Пока ты в пальто — крикнула бабушка, глядя через очки, — захвати разом дров ! — и бросила ей ключ от погреба. Хорошо, она сейчас принесёт дров. Вход в подвал со двора.

Резкий ветер в подворотне с силой налетел на неё и обдал снежной пылью. В такую метель хорошо сидеть где-нибудь в тёплом просторном доме, где уютно потрескивают в печке дрова и где тепло мягкой волной окутывает со всех сторон озябшее тело.

Она спустилась по ледяной скользкой лестнице в подвал и, придерживаясь за мёрзлые перила, остановилась у входа. Вывороченная дверь, накренившись набок, была открыта для всех. Запах плесени и сырости шёл откуда-то из глубины. Она нерешительно сделала два шага вперёд и погрузилась в гнетущий мрак.

Длинный, тёмный, без окон подвал тянулся во всю длину дома. Он весь был разгорожен на клетки для склада дров. Старые, заржавленные замки висели на неуклюжих, самодельных дверях. Дрова крали. Случалось, ночью, невзирая на фокусные запоры, отбивали замки и увозили дрова.

Она вошла осторожно, боясь оступиться. В конце подвала, в маленькое оконце, покрытое многолетней пылью, просвечивал тусклый, едва уловимый свет. Это оконце и осветило ей трудный проход к их запасу дров. Всякий раз, когда она шла по этому тёмному как туннель проходу, её охватывал страх. А вдруг кто-нибудь спрятался здесь и стоит притаившись в тёмном углу. Сколько случаев было известно ей, о которых никогда не писали в газетах. Сердце

её усиленно стучало, она никогда не была уверена, что благополучно выберется из этого ужасного места.

Вот и сейчас. Она споткнулась на что-то и едва успела удержаться за мокрую стену. Она наступила на кучу тряпья, брошенного кем-то. Брезгливо, вся содрогаясь, она переступила через эту страшную преграду. Теперь она не сомневалась, что кто-то спал здесь и, заслышав её шаги, спрятался где-то, застигнутый врасплох. Вся дрожа от страха, она подошла к двери. Как жутко ей было входить в эту как могила тёмную, страшную клетку, где хранился их драгоценный запас дров. Что дала бы она сейчас за возможность включить свет . . .

Но электричеством, как закон, никто в подвале не пользовался. Лампочки всегда кто-то выкручивал, кто-то крал дрова, и этот кто-то всегда всем угрожал и всех пугал. Ощупью она нагрузилась как можно большим количеством дров и с трудом пошла к выходу. Теперь только-бы не упасть в темноте и не рассыпать дрова. Она благополучно выбралась из подвала и облегченно вздохнула. Слава Богу, наконец-то самое тяжёлое и неприятное дело было на сегодня сделано.

В подворотне она натолкнулась на дворника. Он недовольно покосился на неё и, едва поздоровавшись, прошёл мимо. Ни для кого не было тайной, что он был связан с ГПУ, этот неприятный человек с рысьими глазами, всегда наводивший на всех страх. И теперь она испуганно подумала про-себя, чем он недоволен и почему так неприветливо и неохотно поздоровался с ней. Ах, как это было ужасно, как тяжело и как надоело, как безумно хотелось куда-видно уйти, бежать куда глаза глядят.

Когда она снова вошла в дом, её мысли возвратились к доктору. Какой цвет у него глаз, какие волосы и его рост ! Этот необыкновенный рост вызывал на её лице усмешку, связанную с хлебом и хлебными карточками. Думал ли он также о ней, как она о нём ? . . Эта мысль на одно мгновенье поглотила её настолько, что она совершенно забыла о дровах и с тяжестью на руках стояла среди комнаты.

Бабушка уже чистила к обеду картофель, а Люлик мастерил что-то из тонких дощечек. В комнате было холодно и неуютно, неубранные кровати с раскрытыми рваными одеялами и вылазящей из них ватой особенно казались убогими. Она подумала про-себя, сколько уже времени она старается достать что-нибудь для заплат, особенно к одеялу Георгия Павловича с громадиой дырой в том месте, где приходились ступни его ног. С грохотом она высыпала дрова около печки и стала убирать комнату.

Георгий Павлович к обеду не пришёл. Напрасно они ждали его. Люлик с нетерпением подбегал к окошку. Наконец они сели за стол.

Георгий Павлович пришёл поздно, в двенадцатом часу ночи. Усталый и голодный, он тяжело вошёл в комнату и молча направился в угол за сбитый из фанеры шкафик. Там прятался жестяный умывальник с выскакивающим, если неосторожно поднять снизу, стерженьком-краном.

— Воображаю, как ты проголодался, — сказала Марися, поспешно разжигая примус. — Ещё бы, — с раздражением ответил Георгий Павлович, — двенадцатый час ночи, а я как с утра поел, так до сих пор ещё ничего во рту не держал... Ещё эти бесконечные заседания каждый день, каждый день после работы не дают покою...

Ночью наступал, наконец, долгожданный отдых. Она зажигала в изголовьи кровати десятисвечную электрическую лампочку и, вытянув усталое тело, открывала книгу. Люлик спал. Георгий Павлович готовился к лекциям. Тишина нарушалась только хлопаньем дверей на парадной лестнице. Это возвращались откуда-то с работы запоздалые жильцы. Она слышала долгий тяжёлый кашель и громкое, прямо в воздух, сморканье. Это возвращался Иван Семёныч, жилец с третьего этажа, больной туберкулёзом. Он преподавал где-то на вечерних курсах. После она слышала поспешные шаги легко взбегавшей по лестнице семнадцатилетней Иды, дочери портнихи с пятого этажа. Она всегда возвращалась позднее других. И, наконец, очень медленно, с тяжёлой одышкой, всходил на второй этаж старый учитель матема-

тики и замечательный шахматист. У него была сердечная астма. Он жил совершенно один и должен был сам позаботиться о себе и заработать на хлеб насущный.

На дворе кружила метель. Окна до половины были занесены снегом и кружевные узоры алмазными блёстками горели на обледенелых стёклах. Она потушила свет и, укрывшись с головой одеялом, сонным голосом сказала Георгию Павловичу: — Не буди меня рано, я совсем забыла сказать тебе, что завмаг дал мне хлеба на два дня по случаю метели. — Больше она ни о чём не говорила, ей неудержимо хотелось остаться одной, спрятаться от всех, забыть, что существуют заботы, огорчения, неудачи, мелкие неприятности, ни о чём не думать, всё выбросить из головы и на одну секунду почувствовать себя свободной от всего. Она глубоко, как можно глубже, зарылась с головой в подушку и почувствовала вдруг острую радость. Это была мысль о докторе. Она ещё никогда не встречала подобного ему, а главное, она никогда не испытывала ни с кем такого влекущего, волнующего чувства. Она приложила руку к груди и чуть слышно прошептала: — Как хорошо!..

Георгий Павлович обернулся к ней и усталым голосом спросил: — Что ты говоришь мне?.. — Она поспешно и смущённо ответила: — Ничего не говорю... О нет, нет!.. — Радость её исчезла и вместо отдыха она вспомнила вдруг разговор с соседкой о вспыхнувшей эпидемии скарлатины, и откуда-то из мрака выползли тоскливые мысли и страх за Люлика.

Георгий Павлович с шумом встал из за стола. Никогда он не может тихо отсунуть свой стул и тихо лечь в постель. Теперь он будет два часа мыться, два часа готовиться ко сну и чем больше он устал, тем дольше он будет собираться отдыхать, а она — не спать и ждать, когда наконец он потушит свет.

Она повернула свою подушку на другую сторону и нетерпеливо сказала ему: — Ради Бога ложись, пора отдыхать...

Георгий Павлович неспеша подошёл к выключателю

и потушил лампу. Свет от фонаря с улицы падал на его кровать, и она видела его согнутую фигуру. Он крепко обхватил руками колени и несколько минут сидел так, отдаваясь своим невесёлым мыслям. В комнате становилось всё холоднее и холоднее. Он натянул на себя сверх одеяла пальто, набросил на ноги пиджак и с облегчённым вздохом лёг. Скоро она услышала его спокойное дыхание, он необыкновенно быстро уснул.

А она не могла уснуть. Она легла на правый бок и нетерпеливо перевернулась на левый, с левого она снова перевернулась на правый, и с правого снова легла на левый бок. Нет, сегодня она никак не могла уснуть. Она положила на ноги бабушкину кацавейку и несколько минут наслаждалась теплом. Несомненно, для сна ей недоставало чего-нибудь тёплого. Теперь она уже наверное уснёт. Но сон не шёл. Она поставила подушку высоко на кровати, но и это не помогло. После ей показалось, что кто-то на улице позвал её по имени, один раз, другой . . .

Она тихо привстала, боясь разбудить Георгия Павловича, и босая направилась к окну. Всё заснеженное и замёрзшее, окно не давало ей видеть, что делается на улице. Она приложила к стеклу руку, чтобы разморозить часть стекла, и в проталинку увидела пустую улицу. Нет, на улице никого не было, значит ей показалось, что её кто-то позвал. Надо спать, во что бы то ни стало надо заснуть. Она натянула на ноги кацавейку и несколько секунд неподвижно лежала, но сна не было.

Где-то близко, совсем возле их дома жалобно выла собака. Как пусто и страшно было сейчас на улице. Хорошо, что она не одна, что рядом Люлик и Георгий Павлович, а дальше бабушка, а ещё дальше — Варенька с Игорем.

Она закрыла глаза и увидела доктора. Он был перед ней. Высокий, мужественный, такой, каким она увидела его в очереди. Его насмешливые строгие глаза смотрели на неё. Вот причина её бессонницы. Она прижала руку к сердцу, оно сильно и быстро билось. — Что, если бы не Георгий Павлович, а он стал её мужем . . . — подумала она, и неудер-

жимое желание быть его женой, почувствовать его так, как бы он был с ней, охватило её со всей силой неизведанного ею чувства. — Боже! .. — беззвучно прошептала она — что с ней? .. Откуда такое наваждение? .. — И в тот момент, когда она так подумала, она вдруг почувствовала, как откуда-то извне, откуда-то по воздуху на неё хлынул и захлестнул её горячий и неудержимый поток любви, его любви, доктора. Его губы коснулись её губ. Она ощущала это едва уловимое, но жгучее прикосновение.

Неужели он был с ней, и она почувствовала его близость на расстоянии? .. Она не могла себе представить, чтобы это могло быть так, и в то же время она снова почувствовала лёгкое, как дуновение воздуха, прикосновение его губ, и жгучее, сладостное чувство снова потрясло её. Нет, это ей не показалось, он был с ней. Что же это такое? Разве это возможно? .. Как хорошо было бы, если бы она могла разбудить Георгия Павловича и спросить его, возможно ли это? .. Но о чём спрашивать, разве Георгий Павлович мог понять, что происходит с ней. Ведь она даже скрыла от него своё знакомство с доктором. Нет, не Георгий Павлович, а он, сам доктор должен объяснить ей, что случилось с ними. Но как, как и где она может спросить его? А если он ничего не чувствовал, тогда что? .. Как он отнесётся к ней, что скажет, как посмотрит не неё? .. Боже, что же делать? ..

Люлик проснулся и захныкал. Она нащупала рукой его кровать и, вся взволнованная, нежно коснулась его головки. — Спи, спи . . . — зашетала она, — я с тобой . . . — Он облегчённо вздохнул, как будто почувствовал, что она с ним, и спокойно уснул. Но какая бессонная и безумная ночь была для неё! Она ничего не могла понять, что творилось с ней. То ей казалось, что она слышит его шаги на улице, то ей казалось, что он её зовёт, и тогда она вскакивала с кровати и кралась к окну, чтобы посмотреть в проталинку, проделанную ею на стекле.

Но на улице никого не было, и в комнате было холодно и темно. Ветер, несмотря на то, что щели были замазаны

в окне, пробивался где-то и носился по комнате. Она вся дрожала от холода и страха. Наконец, совсем поздно уже, она забылась тревожным, беспокойным сном.

В комнате был зимний, едва заметный рассвет. Она проснулась и торопливо стала одеваться. Георгий Павлович сонным голосом спросил её: — Разве надо идти в очередь ? — Тогда она вспомнила про хлеб, про доктора, про заведуещего хлебной лавкой и растерянно ответила ему: — Нет, нет, не надо... Она просто проснулась по привычке на рассвете.

Метель на дворе утихла. Не слышно было уже ни гула ветра, ни вытья в печке, сразу вдруг наступила мёртвая тишина. Вся улица была покрыта глубоким снегом. Снег навис на карнизах окон, на деревьях и сугробами лежал на тротуарах и улице. Наконец метель прекратилась.

Она оделась и неслышно ступая вышла в переднюю. В комнате бабушки горел свет. Бабушка сидела в кресле и чинила старую вязаную кофту. — Уже совсем развалилась, огорчённо сказала она, показывая кофту, всю покрытую заплатами. Она мельком взглянула на кофту и бодрящим голосом, чтобы утешить бабушку, сказала: — Не век же будет такая бедность, я верю, что скоро наступит время, когда всё изменится. До каких же пор ходить всем без сапог, без тёплой одежды, без белья...

— Ты веришь, — шёпотом сказала бабушка и оглянулась на дверь, — а я нет... Сколько прошло лет, и не лучше, а всё хуже, хуже и хуже наша жизнь. Раньше были старые вещи и их можно было продать и купить хлеба, а теперь и того нет, живи как хочешь... — Она протянула дочери нитку и иголку: — Втяни нитку, Марися, ничего не вижу, — попросила она. Марися втянула нитку.

В комнате было необыкновенно холодно. На окне толстым слоем лежал лёд. Господи, как много надо было иметь дров, чтобы натопить комнату.

На парадной лестнице хлопнула дверь, кто-то вышел на улицу и пробежал под окном.

— Уже Маргарита побежала в очередь, — сказала ба-

бушка. Марися зажгла примус и поставила чайник. — Пусть прежде нагреется ваша комнате, — сказала она, — а после возьму и в нашу. Ну и холод!

Люлик проснулся и с книгой в руках, босой, в одной рубашёнке прибежал к бабушке: — Бабушка! — нетерпеливо просил он, — читай дальше!

Марися взяла его на руки и понесла одеваться. Георгнй Павлович уже встал. Начинался рабочий, тяжёлый трудовой день. Но, странное дело, и утром, когда ей было так некогда, когда она так спешила успеть всё сделать, она продолжала чувствовать связь с доктором, как будто кто-то посторний протянул по воздуху между ними электрический шнур и крепко связал их током.

В двенадцать чассов дня, когда в доме кроме бабушки и её никого не было, пришёл управдом. Он подал ей бумажку и попросил расписаться. — Приказ для всех жильцов, — сказал он, — все жильцы, без отказа, должны чистить снег... Вот здесь распишитесь, — сказал он, указывая толстым, крявым пальцем, с отросшим грязным ногтём, место, где должна была она расписаться. Вот причина недовольства дворника, — подумала она, расписываясь. Ни она, ни Георгий Павлович ни разу ещё не расчищали снег.

На дворе было очень холодно. Скованиый морозом снег со всех сторон обдавал её ледяным дыханием. Что за холодище!.. Как она будет работать при таком морозе. Она попробовала оттгребать снег и сразу же остановилась. Всё лицо, руки, всё тело онемело от мороза. Из жильцов в доме почти никто не вышел чистить улицу, только два старика и одна домохозяйка тщетно пытались что-то делать.

Она набрала полную лопату снегу и хотела отбросить его, но не смогла. Хуже всего было с пальцами. Несмотря на тёплые рукавицы, пальцы сразу же онемели, и она их не чувствовала. Мороз крепчал, даже галки и вороны куда-то попрятались. Она бросила лопату и несколько секунд стояла, раздумывая как поступить. Но после снова взяла лопату и сильными, быстрыми движениями стала направо и налево отбрасывать снег. Несомненно, такая гимнастика на неко-

торое время согрела её. Вся раскрасневшаяся, с выбившимися из под воротника волосами, она отбрасывала одну за другой лопаты, расчищая на тротуаре узкую дорожку для прохожих. Первым таким прохожим был доктор.

За работой, она сразу не заметила его. Он поспешно пробирался навстречу ей, утопая в снегу. Она никак не ожидала увидеть его и, смущённая, растерянно смотрела, как он быстро приближался к ней. — Почему он шёл мимо их дома ? .. Не надеялся ли он встретить её, — подумала она, — и почему он так спешит ? — Она выпустила из рук лопату и ждала, что он скажет. Теперь надо было немедленно сказать ему, что ей необходимо поговорить с ним. Но где и как ? ..

Он поравнялся с ней и коснулся рукой шапки. Он даже не сказал ей, здравствуйте, и молча прошёл мимо. Она тоже не могла выговорить ни одного слова и только смотрела ему вслед. Почему она не остановила его и не спросила, где и когда она сможет с ним встретиться, чтобы поговорить. Такой удобный случай, и она не воспользовалась и пропустила его. А теперь жди, когда ещё она снова увидит его. Она с досадой отбросила лопату и пошла к дому.

Неужели она сейчас войдёт в дом ? .. Нет, надо подумать сначала, что ей делать ... Очень просто, она поговорит с ним по телефону, сейчас, немедленно.

Телефонная будка есть на почте и в хлебном магазине, но там все её знают, и это помешает говорить свободно, а на почте никому не будет дела до неё. Боже, но не в этом же наряде ей бежать на почту ... А если она пойдёт переодеваться, бабушка начнёт распрашивать, куда и зачем она идёт, Люлик не пускать её. Нет, нет, лучше так ... Она быстро пробежит и поговорит с ним ... Она с ума сойдёт, если не поговорит.

Она не раздумывала больше и быстро пошла на почту. Она видела уже здание почты, добежала до него, оставалось только войти и поговорить ... И вдруг она вспомнила, что у неё нет десяти копеек ... Неужели она из за этого не сможет поговорить с ним ? Десять копеек ... Но где же

их взять, кто может ей одолжить их? .. И вдруг она увидела учителя математики, этого несчастного старичка, всегда задыхающегося, этого убогого нищего, медленно, с трудом тащившего своё бренное тело, палитое водянкой.

Неужели у него она не постесняется и попросит десять копеек. Нет, недоставало ещё этого... И всё-таки она не уходила и стояла на месте, прикованная одним только желанием, во что бы то ни стало достать где нибудь десять копеек.

Он медленно приближался к ней. В руках у него был какой-то жалкий свёрток, и он осторожно, боясь уронить, нёс его. Когда он поравнялся с ней, она увидела у него под носом большую прозрачную сосульку. Сосулька примёрзла к бороде и болталась в воздухе.

Неужели у него она будет просить деньги? .. И всётаки она остановила его и спросила, не мог бы он ей одолжить десять копеек для телефона, ей необходимо поговорить по телефону, а она забыла взять деньги из дому.

Он испуганно заморгал глазами, как будто замахал руками, отбиваясь от неприятной просьбы, и попросил её подержать свёрток. Так и есть... У него не было десяти копеек, напрасно она обратилась к нему.

Он вывернул один карман своего ветхого пальто, другой. Нарочно вывернул, чтобы она видела, что он не обманывает её. Наконец он вспомнил, как будто он мог забыть, про носовой платок где-то в кармане пиджаке, и нехотя, с трудом расстегнул пальто и вытащил этот мокрый, скользкий платок тёмносерого цвета от грязи. На нём был крепко завязанный узелок. Он долго и с трудом развязывал этот узелок, вертя его замёрзшими, опухшими пальцами, и наконец развязал. В узелке она увидела десять копеек.

О, спасибо! .. — просияв, радостно сказала она. Как только она придёт домой, сейчас же, сейчас она занесёт ему свой долг... Сосулька под носом недоверчиво затряслась. Знаем мы вас... как будто сказала она и сердито зазвенела в бороде.

Почта была на втором этаже. Она поспешно взбежала

по лестнице и с бьющимся от волнения сердцем вошла в телефонную будку. Наконец то она сможет поговорить с ним. Она набрала номер Георгиевской больницы и позвонила. Ей казалось, что он сам сейчас же подбежит к телефону, и она услышит его низкий, ласкающий голос. Но к телефону долго никто не подходил.

Наконец она услышала чей то женский недовольный голос. Она попросила позвать к телефону доктора Одинцова из хирургического отделения. Тот же голос грубо и сердито крикнул в ответ, что доктор занят, на операции, и не может подойти к телефону. Телефонная трубка громко стукнула ей в ухо и недовольно загудела.

Она растерянно опустила и свою трубку на место. Так вот почему он так спешил, его ждала операция... А она вообразила, что он спешил, чтобы встретить её. Какая ерунда... Всегда она вообразит что-то необыкновенное и поверит сама себе.

Надо поскорей теперь отдать эти десять копеек этому несчастному старику. Как он посмотрел на неё, когда она сказала, что сейчас же занесёт ему на квартиру свой долг... Как он посмотрел, как будто бы хотел сказать: — Плакали мои бедные денежки, только и видели их, ищи теперь ветра в поле.

Неспеша, она направилась к себе домой. Когда она подходила уже к дому, она снова, ещё издали, увидела доктора. Он шёл прямо навстречу ей и прятал в своём высоком меховом воротнике смущённую, счастливую улыбку. Её глаза встретились с его глазами и без слов сказали ему: — Что мне делать?.. Я люблю вас. — Его глаза тотчас же, без слов ответили ей: — Я и сам не знаю, что делать, потому что люблю вас также. — Они молча прошли мимо друг друга.

Когда она вернулась домой, бабушка с волнением напала на неё: — Я так переволновалась за тебя... Знаю, что ты вышла чистить снег, и вдруг тебя нигде нет... — Она успокоила бабушку. После поднялась на второй этаж к математику и отдала ему десять копеек.

Был поздний час ночи. Она не спала и ожидала, когда вернётся Георгий Павлович. Беспокойство, что так уже поздно, а его нет дома, всё сильнее и сильнее охватывало её. Что могло случиться с ним ? .. думала она, и в её воображении вставали, одна за другой, мрачные картины. То ей казалось, что его переехал трамвай, то, что его арестовали при выходе из университета, то, что он упал в снег и потерял сознание.

Она вскакивала с кровати и в волнении металась из угла в угол. После снова ложилась на кровать и с замиранием сердце прислушивалась к шагам на лестнице. Но на лестнице было тихо. Уже все жильцы давно вернулись к себе домой, и только один Георгий Павлович был ещё где-то вне дома, где-то на пустой, страшной улице, где так часто грабили и убивали... Она была вне себя. Теперь она уже не верила, что он вернётся живым. Где же он, что с ним ? .. — спрашивала она себя. Ещё никогда он так поздно не возвращался... Она была уверена, что случилось нечто страшное и непоправимое.

И в тот момент, когда она так думала, вдруг горячая, жгучая волна, откуда то извне, откуда то по воздуху, стремительно налетела на неё и разбилась на тысячи жгучих осколков. Где то в глубине, где то внутри груди, где то в сердце всё сладостно до муки заныло от любви. Боже... что же это ? ..

Она привстала с кровати. В комнате было тихо, и только её сердце, как часы, громко и часто стучало. Ведь она не думала сейчас совсем о докторе. Ей совсем сейчас было не до него, и вдруг эта жгучая связь с ним. Теперь она больше не сомневалась, что какая-то неведомая сила, помимо неё, и, может быть, также помимо него, крепко связала их друг с другом.

Был второй час ночи, когда вернулся Георгий Павлович. Он не сразу смог отпереть дверь, и она слышала, как он с сердцем совал ключ в замочную скважину. Она выскочила в переднюю: — Это ты, Жорж ? .. — с волнением спросила она, подбегая к двери. — Да, да, я... — с нетерпением

отозвался он. — Ну, слава Богу, наконец-то... — облегчённо вздохнула она. Струя морозного свежего воздуха ворвалась в переднюю. Георгий Павлович, весь в снегу, стоял перед ней, освещённый сверху электрической лампочкой. — О, Господи, — воскликнула она, — неужели метель?.. — Да, устало ответил Георгий Павлович, стряхивая снег с пальто.

И снова за окном была метель. Снова гудел ветер и горстями швырял в окно снег, снова кто-то грозил и жалобно плакал в оконных щелях. И всё сильнее, всё крепче становился мороз. Но не это мешало ей спать. Она не слыхала ни метели, ни гула ветра на дворе, ни всё крепчавшего мороза. Она слыхала только стук своего бурно трепетавшего сердца, и где-то внутри себя, в глубине, идущий откуда-то извне, по эфиру, неудержимый поток любви, его любви, доктора, к ней.

Она слышала в себе этот неизъяснимый ток, этот налетевший на неё шторм и в обострившемся до сверхчувства сознании читала значение идущих к ней по воздуху волн. Он говорил с ней, он пытался что-то сказать ей, установить между ними связь по эфиру, и каждая волна, доходившая до неё, имела свой, какой-то скрытый смысл, своё, какое-то скрытое значение.

— Раз-два... — считала она горячими, сухими губами. — Два?.. Он не один, он — два, он с ней и слышит то, что она думает. И снова пять волн. Она сосчитала и их без труда, как будто кто-то чужой, поселившийся в ней, пояснял значение этого числа, расшифровала слово из пяти букв: « люблю ». И снова четыре волны, слово из четырёх букв, она расшифровала и это слово: « жена »... Раз-два-три-четыре... Четыре... она — его жена.

Она поднялась с постели и, потрясённая происшедшим в ней, хотела разбудить всех в доме и рассказать о случившемся с ней. Нервная дрожь потрясла её тело, и, вся трепещущая, с лихорадочно горящими глазами, она встала с постели и направилась к двери. И снова: — Раз-два-три... — три волны остановили её. — Раз-два-три... — шептали

её губы... — Три... три... — слово из трёх букв. Уже без усилия она прочла значение этого слова: — « Нет »... Она не должна делать этого. Он не хотел, чтобы кто-либо знал, что происходит между ними.

Она упала на свою жёсткую постель, совершенно уже остывшую от холода в комнате, и с головой укрылась своим стареньким ватным одеялом. Самое главное теперь немного успокоиться, немного прийти в себя и понять, что происходит с ней.

Свет от фонаря плясал на стене, и на окнах всё шире, всё толще расли ледяные узоры. И в эту снежную ночь, всю пронизанную морозом и холодом, между ними возник по эфиру язык любви. Они познали вдруг потусторонний мир, закрытый прежде, и в этом мире, недоступном для других, обрели свободу и вечную любовь.

Теперь уже не волны, а слова лились неудержимым потоком в её сознание: — Я люблю тебя, моя жена — слышала она. — Я люблю тебя в этом многолюдном мире, предназначенную мне природой, я встретил тебя, я разыскал тебя среди миллиона подобных и не ошибся, узнал тебя по глазам, по улыбке, по звуку голоса, по движениям, и почувствовал к тебе трепет, тот неизъяснимый восторг без слов, ту незримую связь по эфиру, ту нерушимую любовь, для которой нет законов, кроме одного, данного природой, предназначившей тебя женой для меня и меня — мужем для тебя.

Найти тебя — это разрешить самую неразрешимую загадку, заданную природой человеку. Это стать Мужем и Женой, вступить в брак, освящённый не только церковью и формально узаконенный людьми, но вступить в брак, освящённый также природой, её несокрушимой властью, связывающей своими незримыми, вечными узами его и её.

Это войти в её зачарованный мир любви, где правит всем не разум человека, а она, главный судья и царь — природа. Она извлечёт из своих глубинных недр главное своё сокровище — любовь — и щедро одарит ею тех, кого она благословила. Она не поскупится и наградит всем, что

только может дать любовь. И, наконец, последний, самый щедрый свой дар, она отдаст и его — это проникновение в её таинственный, потусторонний мир, где нет смерти и любовь бессмертна . . .

Несколько секунд она лежала на кровати совершенно неподвижно, прислушиваясь к себе. Ей хотелось бежать, хотелось как можно скорее рассказать всем, что с нею случилось нечто невероятное, нечто совершенно необычайное . . . Как хорошо было бы, если бы она могла сейчас разбудить Георгия Павловича и рассказать ему всё. — Жорж . . . — позвала она — Жорж . . . Ты спишь ? . .

Георгий Павлович чуть-чуть шевельнул накинутым на ноги старым пальто и не проснулся. Устал . . . Ещё бы . . . Поздно пришёл и поздно лёг. Что же делать ? . . Она растерянным, невидящим взглядом окинула кроватку ребёнка. Люлик спал. Она машинально оправила на нём одеяло.

Расстояние, это непреодолимое препятствие для всех, не существовало больше между ними. Они могли любить друг друга вне пространства, вне времени, вне законов, созданных человеком. Ничего не существовало, что могло бы пресечь их любовь. Так вот что такое любовь.

Она положила руку на кровать ребёнка, ища в нём того нерушимого, незыблемого материнского чувства, которое так крепко жило в ней, и не нашла его. Люлик не проснулся, а её рука опустилась на прежнее место.

В комнате, заполненной до отказа вещами, ей казалось теперь пусто. Что-то необычайное вошло в неё и вытеснило вместе с вещами и прежнюю жизнь. Ей необходимо было увидеть доктора, она думала только о нём. — Где и как ? . . — И в ту минуту, когда она подумала так, она явственно услышала одиннадцать волн. Эти волны, как часы, пробили в ней одиннадцать раз . . . В одиннадцать часов утра она может встретить его завтра. Он будет идти в больницу по их улице, мимо их дома, услышала она. Разве ей нужен был телефон, если она прекрасно слышала его и без телефона.

Хорошо, она завтра выйдет в одиннадцать часов утра,

чтобы встретить его, когда он будет идти в больницу мимо их дома.

И вдруг усталость, усталость необычайная, валящая с ног, охватила её. Она упала на подушку и её глаза сами собою сомкнулись. Ей казалось, что не она, а кто-то управлял её телом. Это кто-то закрыл ей глаза и нагнал на неё сон. Она крепко, без сновидений уснула. Она не слышала ни боя часов из бабушкиной комнаты, ни снежной бури за окном, ни капризного голоска раскрывшегося и озябшего Люлика. Она спала.

В половине одинадцатого утра, она сказала бабушке, что в их распределителе дают копчёное сало, и она должна идти. Бабушка не протестовала. Было бы очень хорошо, если бы она, наконец, получила сало, сколько уже времени они сидят без жиров.

Вместо авоськи она захватила старый затасканный портфель Георгия Павловича с вывороченным наружу замком. Всё-таки не так будет бросаться в глаза всем, что она идёт без дела. Ей всё казалось, что все видят и понимают, куда она идёт и зачем.

На улице всё ещё мёл снег. Тротуары были не расчищены. У кого могло явиться желание идти на холод, расчищать снег, когда не было ни обуви, ни тёплой одежды, ни калош. Она медленно шла по направлению к больнице, с трудом прокладывая себе дорогу в снежных сугробах. Как холодно и ветрено было на улице. Снег нёсся прямо в лицо, засыпал воротник, прятался в складках пальто и мучительно дул в глаза. Она остановилась возле трамвайной остановки, там никого не было. Несколько минут она стояла так на ветре, покрываясь как белым мехом всё большим и большим слоем пушистого снегу. Трамваи не ходили.

Она ещё и ещё постояла, может быть пять, может быть десять минут . . . На старой монастырской часовне часы пробили одиннадцать. Холод пронизывал её всю насквозь. Нет, она больше не могла его ожидать. И в ту минуту, когда она решила уйти, она увидела доктора. Он шёл по противоположному тротуару в своей тёплй шубе и меховой

шапке. Он показался ей ещё выше, ещё старше и солиднее. Она смущённо улыбнулась ему и кивнула головой. Он тоже ей улыбнулся и кивнул головой. Она смотрела на него и ждала, что он остановится и перейдёт улицу там, где меньше снегу. Но он не остановился и уходил от неё всё дальше и дальше ... Что же это всё значило, почему он не подошёл к ней, чтобы поговорить ? .. Ведь не она, а он по воздуху сказал ей, что будет идти в одиннадцать часов утра в больницу. Откуда бы она могла знать, какой улицей и когда он будет идти к себе на работу.

Она растерянно смотрела ему вслед и не знала, что делать. И вдруг снова: — Раз-два-три-четыре-пять — Пять волн — сосчитала она. Её губы, как будто кто-то посторонний говорил за неё, прошептали: — Люблю. — Он круто повернул за угол, и его высокая фигура исчезла. Последнее, что он сказал ей, было слово « люблю » ...

Вся потрясённая, она стояла на улице, не замечая ни снега, ни пронизывающего холодного ветра, ни хмурых, озабоченных людей, спешащих мимо ...

В распределителе для научных работников, где числился Георгий Павлович, она неожиданно получила копчёное сало. Наконец-то его выдали. Ещё две недели назад ей сказала об этом знакомая дама, что будут выдавать копчёное сало, но прошла неделя, другая, а сала всё не было и не было. И сегодня, вдруг, когда она меньше всего ожидала его получить, она получила два фунта. Это было уже богатство, настоящий праздник для всей семьи. Она спрятала сало в портфель Георгия Павловича и пошла домой.

Возле их дома тротуар был расчищен. Удивительно ... Снег по обе стороны тротуара был почти в рост человека. Посредине улицы трамвайная линия тоже была частично расчищена. Она порадовалась и этому. Значит Георгию Павловичу будет легко сегодня добираться домой.

Бабушка стояла во дворе и помогала Люлику строить из снега горку. Люлик оживлённо таскал лопаткой снег, ему помогали другие дети из их двора. Она подошла к бабушке и показала сало: — Два фунта ... — Ого ! .. — Бабушка

просияла вся. — Ну и долго же ты ходила, олнако. — Не всё ли равно, долго или недолго, ведь главное — она пришла не с пустыми руками.

В комнате был ужасный холод. Стоило только дунуть в воздух, как изо рта валил пар. Немедленно она растопила печку. Люлик весь застыл на дворе и вся его одёжка покрылась ледяшками от таявшего снегу. Она стащила с него пальтишко и растёрла ему ножки. Всё было так, как надо. Бабушка пристроилась готовить обед. Люлик и она сидели возле печки, наслаждаясь теплом и, казалось, ничто не нарушало спокойствия и семейного равновесия. Но только так казалось. На самом деле всё было перевёрнуто, всё разбито, и ничего не осталось от прежнего спокойствия.

Она машинально читала вслух Люлику, не проявляя сама никакого интереса к книге. Он смотрел на неё недовольными, обиженными глазами и нервничал. — Что ты читаешь ? . . — наконец воскликнул он, полный негодования. — Ты как будто разучилась читать . . . Там сказано . . . — И он процитировал на память пропущенную ею в книге фразу. — У меня болит голова . . . — виновато сказала она, чтобы что-нибудь сказать в оправдание. Но он недоверчиво посмотрел на неё и отвернулся. Она продолжала чтение, стараясь внимательно читать, но мысли её были далеко, и ей это плохо удавалось. Наконец она закрыла книгу и встала.

— Займись чем-нибудь, — сказала она Люлику, — невозможно же читать тебе весь день. — Он огорчённо посмотрел на неё и ничего не ответил. Впрочем, он никогда не скучал и всегда находил себе дело. И на этот раз, он вытащил из под кровати Георгия Павловича ящик с инструментами и начал что-то мастерить. Когда он что-нибудь мастерил, он напевал. У него был сильный, необыкновенно чистый голосок. И бабушка, слушая его, всякий раз говорила : — Вот посмотришь, что будет из него второй Шаляпин.

Но всё это было так до встречи с доктором. Теперь же все её мысли были поглощены только доктором. Ей

необходимо было поговорить с ним хотя бы по телефону. Как это произойдёт, и что она будет говорить ему, она не знала. Но необходимость это сделать непоколебимо встала перед ней,

— Я скоро приду... — сказала она Люлику, набрасывая на себя пальто и пересчитывая в своём рваном бумажном кошельке медяки.

— Ты опять уходишь? — запротестовал Люлик, — ну нет, мама!.. Что это такое, ты всё уже купила, была в распределителе и опять уходишь! — Она попробовала спокойно урезонить его, но никакие доводы на него не действовали. Он швырнул молоток в знак протеста, рассыпал гвозди, и его прекрасные глаза налились слезами.

— О Боже!.. — Она сняла с себя пальто, но снова, в ту же секунду надела его. — Слушай, Люлик, смотри на стрелку на часах, вот... — Она указала на стрелку ходиков над его столом. Он сам подтягивал гирьку, когда заводил часы. — Когда стрелка будет здесь, я вернусь домой...

Но Люлик не слушал её, он не хотел слушать. Он стал возле двери и преградил ей дорогу. Она осторожно отстранила его худенькие руки и открыла дверь. — Я скоро вернусь, — ещё раз повторила она и, не оборачиваясь, быстро вышла на лестницу. Что с ней?.. Куда и зачем она идёт? Что случилось с ней?..

Ранние зимние сумерки уже опустились на улицу. Унылые толпы людей спешили с работы домой. Но она не замечала ни людей, ни сумерек и, вся поглощенная мыслью о докторе, быстро шла по направлению к почте. Не может быть, чтобы он был ещё в больнице, а впрочем... Почему ему не быть ещё в больнице?.. Куда же звонить, в больницу или на дом?..

Успокоенная своим решением, она поспешно направилась к почте. За одну минуту, как показалось ей, она добежала до почты. Но телефон был занят. В будке сидел какой то человек и недовольным голосом кричал в трубку: — Понятно?.. — Она слышала даже сквозь закрытую дверь его резкий, недовольный голос. Так прошло пять

минут. Но человек не выходил. Прошло ещё пять минут. Она постучала в дверь: — Знаем, гражданка, вижу и слышу. — И он продолжал кричать в трубку.

Господи, когда дорога каждая минута и он может выйти нз больницы, телефон занят. Она снова постучала в будку. — Четверть часа прошло, гражданин, строгим, недовольным голосом сказала она. Человек с сердцем положил трубку и вышел.

Она набрала номер телефона Георгиевской больницы и приложила трубку к уху. Знакомый низкий ласковый голос прозвучал в трубке. В этот раз она никак не ожидала, что к телефону подойдёт он, сам доктор. Совсем не думая, она растерянно сказала: — Попросите, пожалуйсте, к телефону доктора Одинцова ... Тот же знакомый голос с усмешкой проговорнл: — Я и есть доктор Одинцов, что вам угодно ? .. — Волнуясь, она глубоко вздохнула и, не зная, что сказать, молчала. — Я слушаю, — снова услыхала она. Боже, что сказать ему ?

Доктор, это говорит, если вы помните ... — она остановилась. — О, ещё бы не помнить ! .. — прозвучал весёлый насмешливый голос. — Вы и я стояли в очереди за хлебом, так ? .. Не ошибся ? ..

Да, да ... — поспешно ответила она, улыбаясь. Растерянно она подумала, как же он будет смеяться, если она скажет ему, что слышит его на растоянни. Простите, доктор, я хотела бы с вами поговорить ... — неожиданно для себя сказала она наконец и почувствовала, вдруг, сразу облегчение, как будто с её плеч упала невыносимая тяжесть.

— Очень рад, слушаю вас ... — усмехнулся он. Она представила себе его усмешку, его умные, насмешливые глаза, и смущённо молчала. — Говорите, — снова повторил он — я слушаю ... Тогда она, чтобы ему не показалось её поведение странным, тихо сказала: — Я напишу вам всё, так будет лучше. Мне трудно говорить вам по телефону. — Прекрасно ! .. — сказал он ободряющим, весёлым тоном,— пишите ! .. Мой адрес знаете ? Кстати, и номер

домашнего телефона... — Он сказал ей свой адрес и дал номер домашнего телефона.

Да, так будет лучше, думала она. Она просто ему всё, всё нанишет. Иначе нельзя, иначе очень трудно... Успокоившись. удовлетворённая, она быстро направилась домой.

Какой длинный, тяжёлый вечер, ему не было конца. Бедный Люлик... Он смотрел, смотрел на стрелку ходиков, стрелка давно уже дошла до того места, где мама сказала, что вернётся домой. Стрелка уже была далеко и уходила всё дальше и дальше, а мама не приходила. Наконец он услышал звонок и выскочил в переднюю открыть ей теперь. Это была мама.

Он открыл ей дверь и быстро, быстро заговорил. — Я тебя ждал, ждал, я смотрел, смотрел на стрелку, и стрелка давно дошла до того места, когда ты сказала, что придёшь домой. Почему ты не приходила так долго? — Он пытливо смотрел на неё своим большими, прекрасными глазами, а она думала про себя. Боже, Боже, что с ней?.. Ей хотелось плакать. Она прижала к себе Люлика и вдохнула в себя знакомый детский запах его волос. Чудный, хороший мой мальчик. Она никогда, никогда... — Что, мама, никогда? — неожиданно спросил он её, — ты говоришь — никогда... — Она ничего не ответила ему и ещё раз и ещё крепче прижала его к себе.

Наконец день кончился. Даже Георгий Павлович уже спал. На улице было тихо, так тихо, как будто ни одного живого человека не было в городе. Только где-то в подворотне, как будто у них или в соседнем дворе, снова выла собака. Какой ужасный вой... На чью голову выла эта голодная, озябшая собака?.. Только не на её... Нет, нет...

И снова жгучая, волнующая связь с доктором. Раз, два... Он с ней, она слышала его, она чувствовала его всем своим существом. Она вся была в его власти. Что делать?.. Куда бежать от охватившего её безумия? Вся пылающая, вся дрожащая с ног до головы, она снова была с ним.

— Моя жена, — говорил он, — моя единственная, моя чудесная!.. — Она слышала его так ясно, как будто он был рядом с ней. И всё же, чтобы проверить себя, она спросила его: — Скажи мне, сколько букв в фразе: «Только теперь я поняла, что такое Муж и Жена...» — Он тотчас же ответил ей: — Тридцать пять букв. — Она пересчитала буквы, их было тридцать пять. — А сколько букв в слове... — Она задумалась, какое сказать ему сложное, трудное для счёта слово и, неожиданно для себя, сказанла: — «Гиппопотам...».

Он, с молниеносной быстротой, ответил ей: — Десять букв. — Она радостно рассмеялась и снова спросила: — А в этой фразе: — «Я никогда, никогда, никого так не любила, как люблю тебя».

Он, с той же быстротой, ответил: — Сорок пять букв. — Она пересчитала буквы, их было сорок пять. Что же дальше?.. Зачем ей писать письмо, если она могла говорить с ним по воздуху. И всё-таки она решила написать ему.

Утром, когда ушёл Георгий Павлович, она писала: — «Пятую ночь я не сплю. Я ничего не понимаю, что творится со мною. Я слышу Вас на расстоянии так хорошо, как будто вы рядом и разговариваете со мной. Если такое же состояние испытываете и Вы, значит это не безумие. Ответьте же мне немедленно, чтобы я могла, наконец, уснуть и почувствовать себя здоровым человеком».

Она заклеила конверт и бросила его в ближайший почтовый ящик. Ответ пришёл на другой день утром.

«Мой докторский и самый дружеский совет, — писал он — постарайтесь уснуть. Вам нет основания волноваться, возьмите себя в руки, и сон сам собою придёт к Вам. На Ваш вопрос, — испытываю ли и я то же, что и Вы?.. Нет, я не испытываю, я сплю прекрасно. При встрече, надеюсь, что мы сможем ещё об этом поговорить».

Она перечитала письмо ещё и ещё. Почему он не писал правды?.. Ведь у неё не было уже никакого сомнения, что он слышал её так же хорошо, как и она слышале его.

Теперь, когда она встретит его, она, во что бы то ни стало, остановит его и будет говорить с ним о том, что так волнует и мучит её.

На другой день утром, в одиннадцать часов, она вышла, как всегда, чтобы встретить его. Она стояла на углу улицы с твёрдым намерением остановить его и поговорить о письме. Но он не шёл. Прошло пять минут, десять, прошло полчаса, а его не было. Часы где-то пробили раз. Было половина двенадцатого. Почему он не шёл?.. Холодный ветер дул ей в лицо, по мутному небу ползли тяжёлые снежные тучи. Боже, как тяжело и больно было у неё на душе! Почему он пошёл другой улицей и не захотел встретиться с ней? Растерянная, она направилась домой.

И только позже, много позже она поняла, что никаких тайных мыслей у неё не могло быть от него. Он читал её мысли, он прекрасно знал всё, о чём она думала и чего желала. И если он не встретился с ней, то только потому, что знал, что она ищет встречи с ним, чтобы поговорить о письме.

Он был как бы радиостанцией, откуда исходили таинственные волны его духовной энергии, а она как бы его радиоприемником, детектором, воспринимающим его волю, его душевные движения и мысли. Он первый дал импульс той таинственной энергии вне их тела, которая встретила её энергию. Он первый нарушил равновесие и толкнул её чашу весов. Она почувствовала колебания внутри себя, и это движение было той таинственной, жгучей волной, связавшей навеки их друг с другом.

Она не знала о сверхестественной возможности передачи мыслей и чувств на любое расстояние без посредства органов чувств и физической среды, той таинственной области загадочных явлений, именуемых теперь телепатией, и не понимала, что происходит с ней. Она не сознавала ещё, что благодаря случайной встрече с доктором, на её долю выпала возможность на своём личном, непререкаемом опыте познать целый ряд сверхчувственных явлений и своим

точным, бесспорным свидетельством о них приблизить познание великой тайны вечной, бессмертной человеческой души.

Ей казалось иногда, что он живёт внутри неё, или его воля и её слились в одно целое, независимо от их тела. Когда она спрашивала его по эфиру, он отвечал ей: — Я не знаю, что происходит с нами.

Видимо, он и сам не понимал, что происходит с ним, и боялся сказать ей правду, чтобы не показаться смешным со своими необычайными способностями передавать на расстоянии свои мысли и чувства и воспринимать чужие, о чём он и не предполагал до встречи с ней.

Так она узнала, что он женат, что у него семья, — жена, тёща и дочь. И он не только сказал ей об этом на расстоянии, но и показал ей ещё одно таинственное проявление метафизических сил: она увидела, вдруг, его жену, дочь и тёщу. Она не могла понять, как это произошло, но она видела их.

Тёще была толстая, большая и важная. Она держала гордо закинув назад голову и за руку тащила маленькую заплаканную девочку. Дочь шла раскачиваясь, подёргивая бёдрами. Она была ниже матери, тоньше и красивее её. Но в лице её было что то наглое, развязное и распутное. Все трое, они прошли перед её глазами и растаяли в воздухе.

Она спросила его: — Это твоя семья ? .. — Он тотчас же ответил: — Да ... — Она подумала, что всё это ей только показалось, что она видела это всё в полусне. Но на другой день она узнала, что он действительно женат и имеет дочь, жену и тёщу. Всё было так, как он показал ей по воздуху.

Но этого ей было мало, ей хотелось проверить, те ли это лица были, что она видела ночью, или всё это ей примерещилось.

Она отправилась к его дому и, возле дома, где он жил, неожиданно встретила всю его семью. Она сразу узнала в них те же лица. Тёща была толстая, высокая особа с

закинутой назад головой, рядом с ней шла дочь, развязно раскачивая бёдрами, позади них плелась никому не нужная маленькая девочка с распухшими от слёз глазами. Все трое они вошли в дом.

Это была его семья, она уже видела эту семью ночью у себя в комнате. И теперь она не сомневалась больше, что всё, что он показал ей, была правда. У него была семья, но он был одинок и глубоко несчастлив.

В её же доме жизнь шла тем же порядком, как и раньше. Рано утром она становилась в очередь за хлебом, убирала комнату, грела воду на примусе и стирала в деревянном корыте бельё. От белья поднимался в комнате запах пота, бельё было заношенное и с трудом отмывалось. Она изо всех сил тёрла его руками, но воротничёк на рубашке Георгия Павловича так и не отмывался. Тёмная полоска на сгибе воротника становилась коричневой, и это было всё, чего она могла достичь.

Сушить бельё на дворе было неудобно, и она сушила его в той же комнате, где они спали. Вся печка завешивалась бельём, от пара в комнате стоял удушливый нездоровый воздух, но она ничем не могла помочь этому и ничего изменить. Когда она однажды попробовала просушить бельё на дворе и поручила бабушке следить из окна, бабушка на одну минуту оторвалась от окна и, в ту же минуту, кто-то снял рубашку Георгия Павловича.

Каждый день она выводила Люлика погулять во дворе и сама, пока он спускался с горки на саночках, стояла на холоде и зябла. Однажды, когда она стояла так на улице возле дома, а Люлик прыгал с коньком на одной ноге по тротуару, она увидела доктора. Он шёл навстречу к ним. Поравнявшись с ней, он остановился на секунду и спросил, показывая на Люлика: — Это ваш ?..

Она вся вспыхнула и кивнула головой. Она чувствовала, как вся кровь прилила к её лицу и отлила от сердца. Она ничего не могла ему сказать, и он отошёл от них. Она долго смотрела ему вслед, пока его высокая фигура не исчезла за поворотом улицы.

Какое мучительное и безумное счастье было видеть его. Ей хотелось бежать за ним, хотелось крикнуть ему, что жизнь без него для неё уже совершенно невозможна. Но он уходил, а она не решалась остановить его и сказать ему, что она слышит его на расстоянии, что она с ним и любит его.

Каждый день, в одиннадцать часов утра, он проходил мимо их дома, и она видела его. Он спрашивал её по воздуху: — Ты моя жена ? —И она неизменно отвечала ему: — Твоя жена. — Тогда он просил её выйти к нему навстречу в одиннадцать часов: — Одиннадцать . . . Одиннадцать . . . — Его просьбы всегда были так настоятельны.

И она выходила к нему в одиннадцать. Он здоровался с ней и молча проходил мимо. Его строгие глаза смотрели на неё робко, и она читала в них мольбу. А по воздуху он просил её, он умолял её быть его женой.

Однажды, в одиннадцать, она не вышла к нему. Не потому, что она не хотела его видеть, о нет . . . Ей казалось, что если она не увидит его с утра, она весь день будет страдать и чувствовать себя больной. И всё-таки в этот день она не смогла выйти к нему. У Люлика болеко ушко, и она не могла оставить его одного. Она сказала ему по эфиру: — Люлик болен, и она боится, что у него воспаление среднего уха. Напрасно она надеялась, что он скажет ей что-либо утешительное, он молчал.

В окно она видела, как он проходил мимо их дома. Но когда она сказала ему по эфиру: — Я здесь, вижу тебя . . . — он ускорил шаги и быстро прошёл мимо, не взглянув на окно. В ответ, она услышала : — Раз . . . Один . . . — Тогда, чтобы он не чувствовал себя одиноким, она снова и снова повторила ему: — Я с тобой, я слышу и люблю тебя. — Но, в ответ, было всё то же сердитое « раз ». Он хотел только одного — её любви, и всё остальное для него не существовало.

У Люлика оказалось воспаление среднего уха. Он лежал на своей кроватке замотанный марлей, весь в жару, маленький и беспомощный. На дворе был мороз, и ей так трудно

было натопить печь, чтобы в комнате было тепло. Люлик плакал, а где-то внутри себя она слышала идущие к ней по эфиру волны и настойчивую мольбу быть его женой. Господи, могла ли она сейчас думать о чём-нибудь другом, кроме болёзни ребёнка.

Наконец, на пятый день, Люлику стало легче. Доктор осмотрел ушко и сказал, что всё хорошо. Она была безмерно счастлива, что всё обошлось благополучно. Но Люлик был ещё настолько слабый и беспомощный, что не могло быть и речи, чтобы оставить его одного даже на несколько минут. Он держал её за руку и просил, чтобы она ему читала. И она читала ему одну историю за другой, не думая об отдыхе.

Когда Люлик, наконец, спокойно уснул, она спросила по эфиру: — Почему ты молчишь и сердишься? .. — Он ответил: — Я не сержусь, но я один, ты же с мужем.

Георгий Павлович, действительно, был с ней и, так же как и она, глубоко переживал болезнь Люлика. Теперь, когда болезнь была уже позади, они оба, счастливые, стараясь как можно тише ходить и говорить, то и дело прислушивались к дыханию ребёнка и оба, без слов, облегчённо вздыхали. Эта болезнь снова сблизила их, и их отношения, казалось, снова стали прежними. Но, на самом деле, так только казалось, — к прежнему уже не было возврата.

Иногда она ловила на себе пытливый, недоумевающий взгляд Георгия Павловича. Он как будто что-то хотел сказать ей и не решался.

Однажды, как-то вечером, она сама сказала ему: — Знаешь, этот, как его... доктор, который в Георгиевской больнице...

Георгий Павлович вопросительно смотрел на неё.

— Я, почему-то, слышу его на расстоянии...

— Я не понимаю, о чём ты говоришь, сказал Георгий Павлович.

Она испуганно посмотрела на него. — Ты, наверное,

будешь думать, что я больна? .. — Он ничего не ответил ей, ожидая, что она скажет дальше.

— Этот доктор, — продолжала она, — я познакомилась с ним в хлебной очереди ... Чудак ... стоял за хлебом битый час и, если бы не я, не получил бы хлеба ... Но это случилось, ты думаешь, вчера? .. Нет, нет ... ещё в начале декабря, а может быть и раньше ... И вот, со мной случилось такое ... Я слышу его на расстоянии, так как-будто он стоит здесь передо мною ... Хочешь проверить? .. Слушай, я спрошу его сейчас, который час ... Видишь, у меня часов нет и я совершенно не знаю, какое сейчас может быть время ... Спросить? ..

Георгий Павлович улыбнулся и шутя сказал: — Ну что ж, спроси, посмотрим, что ответит тебе твой дух в лице доктора из Георгиевской больницы.

Она про себя, молча, спросила по воздуху: — Федюша, слышишь, скажи, который час? .. — Он, в ту же секунду, ответил ей: — Четверть седьмого. — Она, не задумываясь, сказала, — Четверть седьмого.

Георгий Павлович посмотрел на часы и рассмеялся. — Дух врёт, сейчас пять часов. — Она, недоумевая, оглянулась, как бы ища кого-то в комнате, и снова, про себя, спросила его: — Скажи, почему ты сказал неправду? — Он спокойно ответил ей: — У твоего мужа стоят часы. — Она громко сказала: — Он говорит, что твои часы стоят.

Георгий Павлович приложил часы к уху. Часы стояли.

Тогда она направилась в комнату бабушки проверить время и увидела, что на стенных часах было четверть седьмого: — Вот видишь, — радостно сказала она, — я тебе говорила, что слышу его.

Георгий Павлович с интересом посмотрел на неё: — А я думал, что случилось с тобой, и не мог понять ... Так вот в чём дело ... Ну что ж ... — озабоченно проговорил он и замолчал.

Но как легко и ясно стало у неё на душе, когда она открыла свою тайну Георгию Павловичу. Зачем его напрасно мучить и заставлять ломать себе голову лишней

тревогой. Ведь она связана с доктором только на расстоянии и, может быть всё это... Нет, нет... — подумала она, испугавшись, что он услышит её мысли — нет, нет... — повторила она про себя — я связана с тобой навеки, навсегда... — Но он уже услышал её.

Жгучая, стремительная связь с ним обожгла её и с корнем вырвала всякое сомнение: — Моя жена?.. — услышала она, — Твоя... — покорно ответила она.

— Я хочу видеть тебя, слышишь?.. Сейчас, немедленно!.. Я буду ждать тебя на углу Фундуклеевской и Владимирской... — услышала она.

— Боже!.. — подумала она — куда я пойду сейчас... так поздно?.. На дворе так холодно... — Он сразу же услышал её: — Ты не хочешь видеть меня?..

Она сказала то, что думала: — Мне всегда хочется тебя видеть, всегда... Но сейчас все дома, что я скажу, почему и зачем мне надо идти?.. Лавки закрыты, какое дело я могу придумать?.. Потом, у нас топится печь... Ты знаешь, у нас это целый ритуал. Мы сидим все возле огня, греемся, отдыхаем и беседуем. Георгий Павлович дома, что так редко бывает. Бабушка сидит в центре, против огня. Она занимает самое лучшее место, рядом Люлик, ещё дальше Игорь, тут же Варенька... Ах, ты не понимаешь всего... Как трудно сейчас что-нибуть придумать, что хотя бы отчасти оправдывало мой уход.

Он сразу нашёл, что надо сказать. — Здесь, на Владимирской, продаются сухарики. Скажи, что купишь к чаю, что принесёшь сейчас же, что недолго будешь ходить.

— Хорошо, сказала она, — попробую, если Георгий Павлович отпустит одну... Она встала с места, где грелась, и подбросила полено.

— А не много ли на сегодня?.. — спросила бабушка. Она подложила ещё одно и успокоила бабушку: — Эти все дрова можно сжечь сегодня, — сказала она, указывая на сложенные поленца в уголке возле столика Люлика.

— Это что-то ты уж черезчур... — сказала бабушка.

Но Варенька, всегда зябкая, перебила её: — Что там черезчур, Марися знает лучше вас, можно или нет.

Теперь ей надо было объявить всем, что она хочет пройти за сухариками. — О Господи... — сказала она, как-бы вспоминая что-то. Я совсем забыла, что на Владимирской продавались сдобные сухарики, а так хочется к чаю... Главное, совсем недорого. Все молчали, даже Георгий Павлович. Она почувствовала, что всем захотелось сухариков к чаю. — Я сейчас пробегу быстро, а вы поставьте чайник, чтобы чай был уже готов...

Одна бабушка, неубедительно, пробовала отговорить её: — Охота на такой мороз, когда топится печка... — Она ничего не ответила и быстро накинула на себя шубку. — Я скоро... — сказала она на вопросительный взгяд Георгия Павловича. Удивительно, как легко ей удалось, на этот раз, выйти из дому.

На дворе был такой ясный морозный вечер. Она глубоко вдохнула в себя холодный, чистый воздух и быстро, почти бегом, направилась на угол Владимирской и Фундуклеевской. А вдруг он не придёт, — подумала она, — вдруг всё это обман, он и не подумает идти в такой мороз, чтобы увидеть её. Переходя улицу, она сказала ему по воздуху: — А ты не обманываешь?.. Придёшь?.. На что он тотчас же ответил: — Я уже жду тебя и перечитываю возле столба старые афиши.

Она ускорила шаги и, действительно, ещё издали увидела его высокую знакомую фигуру. Он стоял спиной к ней и читал объявления. Это было так удивительно, что он был уже здесь, и что она могла говорить с ним по эфиру. Она нерешительно сделала несколько шагов и остановилась, не подходя к нему. Она вся сияла от счастья. Он видел это, и её счастье отразилось и на его лице.

Он подошёл к ней, взял её руку в свою и сказал: — Как хорошо, что я встретил вас!.. Вы в какую сторону?.. — Смущённая, она робко пояснила ему, что вышла купить сухариков к чаю. — Прекрасно, идёмте за сухариками. — Они пошли рядом, под руку, тесно прижавшись друг к

другу, и она чувствовала, как от прикосновения его руки к ней потоком лилась несокрушимая, могучая сила любви. Господи, что она делает! .. Совсем обессиленная, она остановилась возле кондитерской.

Кондитерская была заперта. В тусклом свете, падавшем от спрятавшейся где-то сбоку электрической лампочки, видны были пустые полки. Никаких сухариков не было. Она молча показала ему на пустые полки. — Уже всё распродано, — сказала она. — Да, — виновато ответил он, — всё распродано ... — И в его глазах вдруг блеснул задорный, весёлый огонёк: — А еслибы не сухарики, мы, пожалуй, сегодня и не встретились бы здесь, не правда ли? .. — сказал он весело.

— Да, — ответила она, окидывая его быстрым, пытливым взглядом. Что он хотел этим сказать? Не намекал ли он, что только благодаря его счастдивой мысли пойти за сухариками они встретились. Она пытливо посмотрела на него ещё и ещё раз. Но его розовое от мороза лицо ничего не выражало, кроме удовольствия, что он идёт с ней. Она подумала: как ужасно, что он скрывает и не говорит ей правды. Обиженная, она сказала ему: — Вы очень, очень плохо относитесь ко мне ...

Он крепко прижал её руку к своей и тихо, почти шёпотом, сказал: — Так хорошо, как ни к кому ещё никогда. — От его голоса, от его лица, от всей его фигуры на неё снова хлынул поток любви. Она закрыла глаза, как от яркого света, и не глядя, молча пошла за ним.

Он первый остановился и сказал: — Идите домой, вас ждут там. — Она покорно освободила свою руку из его руки и пошла к дому.

Да, её ждали там. На примусе кипел чайник. Печь была уже закрыта, и все нетерпеливо прислушивались, не идёт ли она. Люлик первый выбежал ей навстречу: — Принесла сухарики? .. — Георгий Павлович доверчиво улыбался ей, довольный, что она уже пришла. Даже Варенька, всегда неприветливая и хмурая, улыбаясь, сказала ей: — Конечно, никаких сухариков, я так и знала, какие там

сухарики вечером... В пять часов утра ещё, да и то...

— Да, — смущённо ответила она, — всё уже распродано...

— Ну что ж, — улыбаясь сказала бабушка, — пробегалась по морозцу, а теперь чай пить. — И она поставила на стол плетёнку с черным хлебом.

Поздней ночью ей показалось, что кто-то её позвал. Она встала с постели и босая подошла к окну. На улице было пусто. Одинокий фонарь качался от ветра и кривые тени плясали по земле. Как холодно, пусто и страшно было на улице! Чувство удовлетворения, что она не одна и в комнате, охватило её. Она постояла несколько секунд, вглядываясь в темноту, и вдруг вся замерла.

На средине улицы показалась так хорошо знакомая ей высокая фигура. Она медленно приближалась к их дому. Свет от фонаря падал на шубу с бобровым воротником и меховую шапку. Его высокая фигура казалась ещё выше и больше от шубы и шапки. Так вот кого она услыхала поздней ночью и кто не спал и думал о ней.

Он стоял один среди качающихся от ветра деревьев на совершенно пустой, страшной улице. Ни один прохожий, ни один извозчик, ни даже дежурный постовой не решился бы появиться здесь в этот поздний жуткий час.

Она прижалась лицом к стеклу и вся замерла от нахлынувшего на неё невыразимого, всепоглощающего счастья. Она слышала, как громко стучало в груди её сердце, готовое выскочить и слиться с ним. Он продолжал стоять, прикованный силой своего чувства к ней, и молча ждал невозможного. Сквозь двойную оконную раму он видел её бледное тонкое лицо, безмолвно глядевшее на него из тёмной комнаты. Там, за этим окном, была его жизнь или смерть. Знала ли она об этом?.. Он круто повернулся спиной и быстро зашагал прочь.

В морозном воздухе совсем ясно к ней доносились его удалявшиеся от дома шаги. Всё тише и, наконец, совсем глухо, они замерли и больше не повторялись. Она осторожно задёрнула шторку и, неслышно ступая босыми ногами по полу, подошла к кровати. Никто не проснулся в

комнате. Она рассеянно, привычным движением руки, нащупала одеяло на кровати Люлика и насунула его на открывшуюся спинку. Он крепко спал. Она прижала к губам его горячую маленькую руку и поспешно легла в свою, уже остывшую, жёсткую и неудобную постель.

Муж громко похрапывал, и этот спокойный звук, связанный с безмятежным чувством отдыха, врезался в её сознание, как громкий, страшный, невероятный контраст с её душевным состоянием. Она долго не могла побороть в себе нервную дрожь, не проходившую даже тогда, когда она натянула на себя сверх одеяла старое ватное пальто. Она вся дрожала с головы до ног; это была упорная, как в лихорадке, не проходившая, а всё усиливающаяся дрожь. Она чувствовала, что если так ещё продлится, она не выдержит и разбудит всех в доме. Это было такое чуждое ей и болезненное явление. Что с ней ? .. Откуда пришло это страшное, позднее и мучительное безумие ? Разве возможно счастье, когда всё вокруг неё рушится. Разве её жизнь не бездна, открывшаяся перед ней. Ах, как страшно и безвыходно было то, что так упорно и настойчиво влекло её к себе.

Теперь, этой тёмной бессоной ночью, ей ясно представилась вся безотрадная картина надвинувшегося на неё несчастья. Она не могла иначе назвать то, что за минуту перед тем считала наивысшим в жизни счастьем. Заломив руки, вся дрожа от невыразимого горя, она молча думала о нём, об этом высоком, большом и необыкновенном человеке, так сильно и глубоко поразившем её душу. Кто он ? Почему ей кажется он таким близким и родным, и почему вся жизнь, прошедшая с мужем, кажется такой пустой, скучной и лишённой всякого интереса и радости ?

А здесь ... даже мимолётная встреча, даже голос из глубины поздней ночи, даже звук шагов или огонёк горящей папиросы среди тёмной улицы, всё это было полно смысла, трепета, радости и счастья, счастья невыразимого, полного, захватывающего собой всё: тело, душу ... всё от начала до конца, без возврата и навеки. Где же правда ? ..

Почему она должна таить и прятать это чувство? Почему ей нельзя сказать открыто, что она любит и любима, и их жизнь есть одна жизнь, слитая воедино и нераздельно.

Муж и жена... Как много смысла, как много тайны и неразгаданного, скрытого от всех значения в этих двух, для всех таких простых и обыкновенных словах. Так вот где этот единственный, этот неизменный и простой выход. Стать его женой. Жена... Она поняла всем своим существом, что значит это коротенькое, привычное для всех слово. Жена... В этом слове только теперь перед ней открылась тайна брака, всеисчерпывающая по полноте своего счастья.

Она не спала. Часы пробили четыре. В этот час она всегда просыпалась и, неизменно, всегда слышала жгучую и волнующую всю её душу и тело связь с ним по воздуху. И сейчас, когда она сосчитала своими сухими, горячими губами часы и прошептала про себя « четыре », она услыхала, как бы в ответ на свой шёпот, его беззвучный, идущий откуда-то из глубины пространства голос. Он снова и снова ставил ей по воздуху жгучий вопрос, согласна ли она стать его женой, согласна ли она оставить своего мужа, сына, всю семью, с которой была связана до сих пор её жизнь. Согласна ли она выйти за него замуж и перейти к нему одна, совершенно одна, даже не захватив с собой ни одной вещи, ни одного кусочка, связанного с воспоминанием о её прежней замужней жизни... Сможет ли она жить только с ним, безраздельно принадлежать только ему, быть только его женой?

— « Жена », — она прошептала это слово застывшими от горя губами. — Нет, она не могла быть только его женой, никогда она не смогла бы бросить своего сына, своего единственного ребёнка. Она прошептала ему: — « Я люблю тебя, как никто никогда никого не любил, но я не могу бросить Люлика » !

Он слышал её и без шёпота. Он ловил ее мысли по воздуху с молниеносной быстротой. — Я слышу, — ответил он, — если бы ты любила меня так, как люблю тебя я, ты

не колебалась бы между мной и сыном и ответила бы мне « да ».

Она вскочила с кровати и с неудержимым волнением вгляделась в детскую кроватку. Она увидела на белой подушке тёмную головку и отпечаток на светлом одеяле маленького беспомощного тела. Могла ли она оставить это дорогое маленькое существо без материнской заботы, без любви и ласки. Могла ли она уйти от него навсегда, чтобы получить взамен только личное счастье, личную радость и удовлетворение ? .. О нет, нет, тысячу раз нет ! .. Ей это показалось настолько невероятным и чудовищным, что она сказала ему без колебания, глядя в темноту ничего не видящим взглядом: « О, нет, нет ! .. Я буду твоей женой, я никогда не буду принадлежать больше мужу, я буду навеки твоей, но я не могу бросить ребёнка и уйти к тебе. Если ты любишь меня, ты поймёшь и не будешь настаивать ! » — Она не долго ждала его ответа. Это было непоколебимое, упрямое и злое « нет ».

Георгий Павлович был дома и что-то писал у себя за столиком. Люлик ещё не спал и что-то мастерил. Ходики громко тикали, отсчитывая время. Никогда ещё они не отсчитывали его так точно и бесповоротно. О время, как оно было жестоко и как быстро проносилось. Она сидела на своей кровати, у неё не было своего стола, и листала свой дневник. Запись была нерегулярная, проходило много дней, прежде чем она заносила туда что-либо. Она писала: « Сегодня снова он умоляет меня быть его женой . . . Зачем это ? .. Бросить всё и уйти к нему . . . Разве это возможно ? Разве возможно бросить Георгия Павловича и Люлика ? .. Я не могу даже себе представить, не могу даже подумать, так кажется это мне невероятным. И, вместе с тем, я ему сказала сегодня: — Хорошо, я согласна, я буду ваша жена, я брошу Георгия Павловича, Люлика, я оставлю всё и приду к вам . . .

Он ничего не ответил, он молчал. И тогда, вдруг, в эти несколько минут молчания, он, вместо слов, показал мне, как в телевизоре, то, что могло бы быть, если бы я

действительно решилась уйти к нему. Я увидела одноконного извозчики, он стоял против двери нашего парадного входа и ждал, когда вынесут вещи. Вещи вынес Игорь. Он спросил меня: — Марися, куда поставить корзину ? .. — Я молча показала ему на извозчика. Он поставил корзину на сиденье рядом с извозчиком. В сущности вещей больше не было, эта корзина и всё. Игорь стоял возле двери и не уходил. — Ну что ж, Марися, до свиданья, — наконец сказал он грустно, — напрасно ты такое затеяла, — с укором добавил он.

В это время я увидела доктора. Он сидел в пролётке и ждал. — Что же вы не садитесь ? — спросил он меня, — пора уже ... — Я ничего не ответила ему. Я не решалась сесть ... Я обернулась на дом, я смотрела на дверь, мне всё казалось, что сейчас должны выйти Георгий Павлович и Люлик. Иначе не могло быть, как же я могла уехать без них, одна, бросить их. Этого достаточно было для него.

— Вы, кожется, не всё взяли ? — иронически спросил он ... И я почувствовала, что я не взяла главное, без чего я никуда не уеду ...».

На этом запись в диевнике кончилась. Она приписала внизу: « Что мне делать ? Ведь это же не конец ... Я не могу жить без него, я слышу его так хорошо, как будто он живёт внутри меня, и я люблю его всё сильнее и сильнее ».

Она не успела кончить писать, как услыхала его по воздуху. Он просил её выйти к нему навстречу. Он вышел из дому и идёт в сторону их дома. Она ответила ему: — Я попробую, но не ручаюсь ... Куда ты идёшь так поздно ? — Он ответил: — Никуда, я хочу только увидать тебя.

Она грамко сказала Георгию Павловичу: — Как хорошо, Жорж, что ты дома ... Я пробегу на минутку в аптеку и Люлик будет не один, а с тобой ...

Георгий Павлович, не спеша, свернул рукопись, ту что писал, и сказал ей: — Я тоже хотел бы пройтись. Люлик не один, с ним бабушка, и мы могли бы совершить маленькую прогулку перед сном. — Хорошо, — ответила она, —

но, всё-таки, лучше было бы, если бы ты остался с Люликом. Люлик насторожился и перестал мастерить. — Мама, я тоже хочу прогуляться, — сказал он, Она не на шутку рассердилась: — Господи, — с раздражением сказала она, — даже в аптеку пробежать одна я не могу.

Георгий Павлович ничего не возразил, но стоял уже в пальто и шляпе. — Подожди, — сказал он, вынимая часы, — уже все аптеки закрыты, девятый час... — Да, да, — с сердцем проговорила она, — все, кроме дежурной на углу Фундуклеевской. — Через десять минут я буду дома.

Но Люлик уже поспешно натягивал на себя гамашки. Он из всех сил торопился, желая, во что бы то ни стало, идти с ней. Она взглянула на его озабоченную, беспомощную фигурку и смягчилась. — Да, — сказала она по воздуху, — не так просто, как ты думаешь, мне выйти одной. Я иду в аптеку по Фундуклеевской улице и меня сопровождают Георгий Павлович и Люлик. — Он ничего не ответил.

Все трое они вышли на улицу. Мягкий снежок, как что-то необычайно нежное, что-то непрочное и прекрасное, падал на их лица и таял. Люлик первый радостно вскрикнул: — Как хорошо, мама!.. — Георгий Павлович робко протянул ей руку... — Кажется, скользко — сказал он, но она, испуганно, вся отшатнулась и пошла вперёд.

Возле аптеки она увидела его. Он нетерпеливо ходил взад и вперёд, он ждал уже, но, заметив Георгия Павловича и Люлика, он круто повернул в сторону и, не оборачиваясь, быстро зашагал к себе домой. Она торопливо сказала Гергию Павловичу первое, что ей пришло в голову: — Возьми мне для рук глицерину, я сейчас приду. — Георгий Павлович удивлённо посмотрел на неё, но ничего не спросил. Она почти бегом устремилась за докотром.

Он удалялся от неё, а она, уже не думая ни о чём, бежала за ним, расталкивая прохожих на тротуаре, ни перед кем не извиняясь, забыв обо всём и видя перед собой только эту обиженную, удаляющуюся от неё фигуру. Господи, что она сделала ему, за что он так мучает её!

Наконец она дотнала его. Запыхавшись, она сказала: — Здравствуйте. Фёдор Сергеич, куда вы так спешите?..

Он повернул к ней огорчённое, обиженное лицо и мрачно сказал: — Ну вот... Зачем вы здесь?.. Ведь вы же не свободны, вы связаны по рукам и по ногам! Идите, идите к ним!.. — И он с сердцем замахал рукой в сторону аптеки.

Она увидела издали две фигуры, Георгия Павловича и Люлика. Они шли к ней, они оба махали ей руками, давая знать, что видят её и сейчас будут с ней. Она с раздражением сказала ему: — Почему вы не говорите мне правды, почему вы обманываете меня, и когда я спрашиваю, слышите ли вы меня на расстоянии, вы притворяетесь, что ничего не понимаете? Ведь вы же хотели видеть меня и, по эфиру, просили, чтобы я вышла к вам навстречу, и я вышла, а теперь вы...

Она не кончила и обернулась. Георгий Павлович был уже близко, он видел, что она не одна, и остановился около витрины книжного магазина. — Боже!.. — простонала она, — как вы меня не жалеете.

Он повернул к ней лицо и молча смотрел на неё. Первый раз в жизни она видела такие глаза. Его глаза горели, нет, они светились от пылающего в них, где то в глубине, огня. И в них было столько любви, столько тоски, столько горечи и невысказанного отчаяния. Она опустила свои глаза, она не могла выдержать этого долгого, любящего, молящего взгляда. Не прощаясь с ним, она пошла навстречу Георгию Павловичу и Люлику. — Доктор?.. — спросил Георгий Павлович, — Да, — коротко ответила она. Больше они ни о чём не говорили и молча направились домой. Снег уже не таял, дул северный ветер, и на дворе стало снова по-зимнему холодно и неприветливо.

Какая скучная, тяжёлая жизнь была вокруг. Возле магазинов стояли мрачные очереди, каждый хотел достать самое необходимое, самое нужное, без чего дальше невозможно было уже жить. Были ли это изношенные вконец брюки, и их нужно было заменить новыми, или кусок булки

для больного ребёнка, не всё ли равно, что, но это было. И люди, потеряв всякий человеческий облик, изливали свою ненависть не на тех, к кому она относилась, лишивших их необходимого, а на таких же, как они сами, бедняков, стоявших в очереди.

Брань непрерывным гулом стояла в очереди. Она тоже была здесь, пригвождённая к месту. Бледная, ещё более бледная, чем всегда, и исхудавшая от бессонных ночей, она терпеливо ждала своей очереди. Как часто ей приходилось стоять так часами и как трудно было втиснуться в магазин. Её сдавливали со всех сторон, толкали, её душили и, наконец, втискивали вместе с толпой. Но это ещё не означало, что она достанет то, что ей необходимо было достать. Паред носом у неё нужный кусок материи или ботиночки для Люлика, или ещё что-либо, ещё более необходимое, доставалось стоящим впереди. Она держала в руках билетик с номерком, означающим её очередь, и только. Ей снова не хватило, ей снова нужно было становиться в очерель и снова терпеливо ждать.

Но, зато, как радостно было на душе. Счастье было неизмеримое. Что значили все эти лишения в сравнении с тем счастьем, какое переполняло её. Он говорил ей по воздуху: — Единственная моя, я с тобой... — И она тотчас отвечала ему: — Я слышу, мой дорогой!.. — И он дарил ей в ответ ласку. Она чувствовала её, как что-то нестерпимо прекрасное, что лилось от него, что-то неизмеримое по своему найвысшему наслаждению. И никто не мог даже предположить, что здесь, среди этой грязной, оборванной и голодной толпы, мог быть такой счастливый как она человек.

Дни становились всё длиннее и длиннее. Ветер дул ещё по-зимнему, но где-то в воздухе уже неуловимо пахло весной. Это предвестники весны, вместе с ветром, носились по улице и дули ей в лицо. А как много было этих предвестников. Они неслись из сквера, где открылись первые листки, неслись вместе с талой водой от грязного снега на мостовой и, наконец, от воробьиного гомона где-то на

деревьях и карнизах домов. Сколько было этого весеннего духа везде, незримого ещё, но уже крепко осевшего на землю.

У неё замирало сердце и так неудержимо хотелось бежать туда, где она могла встретить его, и она шла. Он ещё издали улыбался ей сдержанной, счастливой улыбкой. А она, борясь со смущением, борясь с робостью, вся горя любовью к нему, провожала его в больницу. Они шли молча, но где-то внутри продолжали говорить друг с другом по эфиру, так как будто они были далеко друг от друга, а не шли рядом.

Это было так удивительно, так необычайно, и так захватывало всё её существо.

— Ты моя жена? — спрашивал он её. — Твоя жена, — отвечала она. — Нет, — говорил он, — ты не моя, у тебя есть муж и ты не хочешь его оставить. Когда ты оставишь мужа и придёшь ко мне, я скажу, что ты моя жена.

Она горячо возражала ему: — Зачем ты так настойчиво хочешь, чтобы я оставила его? Что он будет делать без меня? Ведь это совершенно, совершенно невозможно, а Люлик?..

— Ты оставишь ему Люлика, с ними будет бабушка...

— О Боже!.. — стонала она, — что ты говоришь! Ты совершенно не понимаешь, насколько это невозможно... Федюша, родной, ведь как просто будет, если ты оставишь свою жену и переедешь к нам!..

— Куда?.. — спрашивал он, где будет стоять моя кровать?.. рядом с кроватью твоего мужа?.. А мой кабинет для приёма больных?.. Где буду принимать больных?.. Ведь это единственный источник для существования.

— Ну хорошо, — соглашалась она, — тогда мы все переедем к тебе, и бабушка, и Георгий Павлович, и Люлик. У тебя большая кавртира, и мы как нибудь разместимся. Даю тебе слово, слышишь, я не буду женой Георгия Павловича, мы будем жить вместе, а женой я буду твоей...

— Нет, — непоколебимо отвечал он, — или я или он.

А весна надвигалась. Прилетели зяблики. Она первая увидала их среди серебряных, ещё голых веток тополя. Как они пели, несмотря на холодное, без солнца, небо и ветер. Казалось, вместе с их пением в сердце вырастала радость и счастливая уверенность, что завтра, нет, ещё раньше, — сегодня, будет всё хорошо. В сущности, ничего хорошего не могло случиться, и весна была только на сердце. А вокруг было всё то же, та же нищета, та же голодная, тяжёлая трудовая жизнь и страх, страх, страх за эту жалкую, трудную жизнь. Так было у всех.

Её же жизнь делилась на две жизни. Одна, открытая для всех, связанная с очередями, с утомительной, непосильной борьбой за существование и страхом, без конца, за близких, за их жизнь. И другая, скрытая от всех, её тайная, необычная жизнь, где пряталось от всех безумное счастье, её воздушная связь с доктором.

Эта скрытая от всех жизнь была для неё сказкой, тем счастьем, что, как сон, было полно чудес. В этой жизни всё было прекрасно, всё возвышенно, всё чисто. В ней царил подарок духа, любовь по эфиру, их непостижимая воздушная связь.

Любовь . . . Она была как дамоклов меч из закаленной, волшебной стали, и её не мог никто ни отвратить, ни отразить, ни уничтожить, она была бессмертна в своей неприкосновенной свободе.

Радость была как сон, встревоженный восторгом. И, наконец, счастье, оно было, как призрак, неуловимо, но царило, как нетленная сила, и перед ним был бессилен земной мир, с его лишениями, пересудами и человеческой злобой. Такова была её вторая жизнь, где были только они, он и она, два духа, два слитые воедино существа, рождённые друг для друга, но лишённые счастья принадлежать друг другу.

А время шло. Вслед за суровой зимой пришли солнечные, светлые весенние дни. Зацвели пролески синим огоньком, из земли как цыплята вылупились пушистые сон-трава и хохлатка. Теперь уже не было никакого сом-

нения, что на дворе весна. Но сколько муки, сколько неутолимого желания сулил ей жгучий солнечный свет.

Разве можно было сидеть в комнате и штопать рваное одеяло, или стоять в очереди и терпеливо выжидать куска злополучной булки, как награду... Нет, это было выше её сил. И она выдумывала несуществующие дела, лишь бы уйти из дому, бежать куда видно, только не сидеть прикованной к домашнему очагу.

Бабушка с тревогой спрашивала её: — Что с тобой?.. Почему ты не посидишь дома и не отдохнёшь?.. Нельзя же думать только о делах и не иметь покоя!.. — Ах, бабушка!.. Как она была недогадлива и как не понимала, что с ней.

Варенька следила за ней испытующим взором и молчала. В её бесцветных, прозрачных как вода, глазах был лукавый, хитрый огонёк. Она догадывалась, что непогрешимая золовка, ангел чистоты, ожёг свои белые крылья и страдает. Но для неё всё это было ничто, все это не касалось её. Не всё ли равно, что думала о ней Варенька или ещё кто-либо, она жила своей таинственной, своей скрытой жизнью и не замечала никого.

Был ли это сон или действительность, она не знала. В комнате никого не было. Она лежала у себя на кровати и отдыхала после утомительного трудового дня. И вдруг она ясно услышала его голос, он сказал ей: — Подойди к окну и постой возле окна пять минут, не больше, я буду ехать трамваем в больницу.

Она встала и подошла к окну. На улице ещё не зажигали фонарей, были весенние поздние сумерки. Где-то на западе алело ушедшее на ночь солнце. Возле окна в воздухе плясали мошки. Она открыла окно и, высунувшись наружу, смотрела на улицу. Неизменная тоска, желание увидеть его, угнетала её. Так прошло пять минут, десять, ещё пять... Мимо прошёл пустой трамвай, в нём его не было.

Она отошла от окна и легла на кровать. — Подойди к окну... — снова услыхала она его настойчивый голос. Она встала и подошла. По противоположному тротуару, не

спеша, шёл он. Свет от его папиросы, как сигнал, давал ей знать, что это он идёт здесь мимо её дома. По эфиру она услышала: — Я с тобой, моя жена, я здесь.

Боже! .. Она отскочила от окна и поспешно стала одеваться. Только бы успеть набросить пальто и проскочить мимо бабушки и Люлика. Она выскочила на улицу, застёгивая на ходу пуговицы. Вся улица была уже освещена, впереди себя, далеко, она видела весь квартал. Его не было. Это было так удивительно и непонятно. Куда он исчез? .. Неужели он спрятался в чужом подъезде и оттуда следит за ней? .. О нет! .. Этого не могло быть. Но что же это такое? Она сделала несколько шагов вперёд и остановилась. Откуда-то, из полутьмы, появилась его высокая, статная фигура. Он шёл прямо навстречу ей. Откуда он вышел? .. Каким образом появился снова? .. Она недоумевала. — Фёдор Сергеевич, откуда вы появились? ..

Он показал ей на дверь дома: — Был у больного, но не дозвонился, сказал он, и сурово добавил: — А вы куда? .. Она замялась и смущённо ответила: — Никуда. — Они пошли рядом.

— Фёдор Сергеевич, — чуть слышно позвала она, — что мне делать? Он продолжал идти тем же решительным, спокойным шагом, не глядя на неё. Его непроницаемое лицо ничего не выражало, кроме ледяного спокойствия.

— Вы необычайно жестокий и недобрый человек, — сказала она.

Уголки губ у него на мгновение дрогнули и раздвинулись в ясную улыбку.

Она поймала на его лице эту скользнувшую, как луч солнца, улыбку и тяжело вздохнула. — Что мне делать? .. — снова повторила она, — почему вы молчите? О Боже! .. — Она заломила руки, и он услышал хруст её тонких пальцев.

Он с сердцем бросил в сторону недокуренную папиросу и резким тоном, почти грубо, сказал ей: — Сейчас же идите домой, вас ждут там, а вы здесь...

Она тряхнула головой, как бы сбрасывая с себя нечто

докучливое, и улыбнулась: — Нет, меня никто не ждёт, — сказала она.

По его лицу снова скользнула улыбка. По воздуху она услыхала: — Люблю . . . Я с тобой, моя жена.

О, как она любила его сейчас, как чувствовала она сейчас эту волнующую, воздушную, только ими уловимую связь. — Муж мой ! . . — крикнула она ему. Это был крик её души. Его глаза, эти немые свидетели его душевных переживаный, смотрели на неё. Они говорили ей: — Я твой, я навеки весь твой, моя жена.

Она молча протянула ему руку. Он взял её в свою и, как нечто хрупкое, невесомое, не принадлежащее земле, держал её в своей. — Прощайте . . . — наконец сказал он. Она неподвижно стояла на месте, не в силах оторваться от него, не в силах двинуться. Её запавшие в глубину глаза не отрываясь смотрели на него.

Он не спешил, он медленно перешёл на другую сторону улицы и остановился на углу. Он видел ещё её. — Прощай, моя жена, — сказал он ей по эфиру, исчезая за углом дома.

— Раз, два ! — услыхала она по эфиру, — я с тобой . . . Я люблю тебя ! . . — летело к ней по воздуху.

И она шептала про себя его слова любви, сливая свои слова с его словами.

А в это время он уходил всё дальше и дальше и, как и она, спрашивал себя : — Что с ними ? . . Почему он слышит её, а она его ? . . Что случилось с ними ? . . Откуда пришло к ним это колдовство, эта тайная ворожба, захватившая всё их существо ? . .

И он как бы прозрел, он как бы понял вдруг, что их любовь помогла им перешагнуть порог какого-то таинственного, потустороннего мира. Но он скрывал от неё, что слышал её так же, как и она его. Он боялся, что она будет подавлена, если он скажет ей правду, и будет страдать и томиться от безнадёжности их тайной связи по эфиру. Это будет для неё равносильно потере свободы, потере воли, своего я. Это чувство безвыходности их безнадёжной связи

по воздуху могло перейти у неё в чувство разочарования и, что могло быть самым ужасным для него, ненависти к нему.

В то же время он понимал, что жизнь без неё для него была теперь абсолютно невозможна. Он любил её. Эта любовь была для него смыслом, целью его жизни. Он просил её стать его женой, сделаться не эфирным его спутником, а действительным, реальным и до конце дней их жить вместе. Но она, в ответ на его мольбу, неизменно отвечала, что согласна, но чтобы всё оставалось так, как было, то-есть, муж, сын, бабушка и он.

Он знал, что она слышит его, но ничего не мог изменить. Какая это была мука слышать её, говорить с ней и, наконец, видеть её, и не иметь права жить с ней и открыть ей правду. Эта правда, то-есть, их брак по эфиру, была подчинена каким-то неведомым законам и не зависела от него.

Когда его тело желало только отдыха, нуждалось только в отдыхе и изнемогало от усталости, наконец, когда он засыпал и ничего, казалось, не слышал, его сознание, независимо от него, продолжало работать.

И тогда он вдруг понял, что любовь его не была подчинена его телу, а была где-то вне их тела, в ином мире. Он никогда не верил в существование этого мира, никогда не интересовался таниственными законами оккультных явлений, но, столкнувшись с ними, поверил в этот мир и содрогнулся перед его тайной.

Был двенадцатый час дня, когда он повернул в сторону больницы. В час дня его ждала трудная и тяжёлая операция. Надо было отогнать от себя наваждение, взять себя в руки и делать серьёзное, ответственное дело, спасти человеческую жизнь.

Как всегда, твёрдым, спокойным голосом, он отдавал приказания своему ассистенту, и под его уверенным ножем воскресало к жизни человеческое тело. Нет, он ещё мог преодолеть в себе это мучительное, изнуряющее чувство. Работа и работа. Но когда работа была уже закончена и он выходил на улицу, он жадно искал её. Он знал, что она

здесь, где-то близко от него, и безошибочно всегда находил её.

Она ждала его или у подъезда чужого дома, или шла медленным, нерешительным шагом по незнакомой улице, изредка глядя куда-то тревожным, нетерпеливым взглядом. Когда их взгляды скрещивались, она вся загоралась от счастья при виде его. Он делал вид, что не понимает её состояния, и спокойным голосом говорил ей: — Здравствуйте, как поживаете ... — Слово здравствуйте он произносил невнятно, съедая его как что-то вкусное, захлёбываясь от удовольствия.

Она поднимала на него свои большие, усталые глаза и её взгляд, полный любви, молил его о спасении. Чем мог он помочь ей ? Он улыбался, снимал шляпу, он держал её руку в своей, он шутил, он говорил ей о самых незначительных и неинтересных пустяках, как например: — Вы знаете, у нас в больнице можно получать чудесную коврижку. Я распорядился, если угодно, на вашу долю ...

Она благодарила его. О, она с удовольствием. Но глаза смотрели на него с упрёком, в них не было благодарности, и, как жгучий огонь, горел вопрос: — Что же это такое ? Почему вы не объясняете, что с нами ?

Они шли рядом и, не замечая прохожих, говорили о самых обыкновенных вещах. Возможно, что скоро отменят хлебные карточки, и не нужно будет стоять в очереди, что сахар будет в неограниченном количестве, что всё вообще ... Но это « вообще » вдруг жалобно вздыхало и не хотело больше болтать. Здесь ей надо было уже сворачивать в сторону.

— До свиданья, Фёдор Сергеевич ... — Её рука скользила в его крепких пальцах, и они прощались. Она оборачивалась на одно мгновение. Его лицо ещё старалось улыбнуться ей, но это была уже болезненная, горькая гримаса, но не улыбка.

Дома она старалась делать, как всегда, всё по порядку: прогулки с Люликом, стирка белья, дрова из подвала и очередь, снова очередь. И, всё-таки, нельзя было сказать,

что она образцовая мать. Какая же она образцовая мать, если через два часа, нет — меньше, через час, её неудержимо уже тянуло на улицу. По её расчётам, он должен был уже возвращаться из больницы, и она спрашивала его по воздуху: — Нет, ещё в больнице, но скоро выхожу... Выходи и ты...

И она надевала шляпку, набрасывала пальто и, стараясь проскользнуть незамеченной, выходила на улицу. Ох, эта улица... С грохочущими, пролетающими мимо трамваями, с потоками людей... Нет, не улица, а тротуар, идущий прямо, после в гору и, наконец, упирающийся в тупик. Эта улица!.. Она была для них домом, заменяла им гостиную, кабинет... Впрочем нет... Все улицы, без исключения, принадлежали им, это был их дом. Они жили на улице, на какой угодно, даже в мороз, даже в снежную метель.

Это нисколько не мешало им говорить о чём угодно, о любви, о погоде, и их голоса не могли заглушить ни звонки трамваев, ни гудки автомобилей, ни голоса проходящих мимо людей. Их голоса были заложены где то глубоко, вне тела, вне жизни на земле. Это были голоса неба, духа, связавшие их своими бесплотными узами.

Впрочем она ни о чём не думала. Ей хотелось только видеть его, она всячески старалась повидаться с ним. Что значили эти разговоры на расстоянии, если она могла вдруг увидеть его глаза, или улыбку, или походку, эту торопливую, боящуюся опоздать, пропустить её, эту жадную, нетерпеливую походку безумца, среди белого дня вообразившего, что на дворе ночь, и его никто не видит.

Она смеялась от счастья. — Здравствуйте, Фёдор Сергеич, куда вы так спешите? О Господи, можно подумать, что у вас крылья за спиной!

Он останавливался и смотрел на неё с упрёком: — Где вы прячетесь? — говорили его обиженные глаза, но не он сам. Сам молчал, сам делался вдруг холодным как лёд, он не торопился больше, не спешил, его походка не

говорила ни о чём таком, что у него есть дело и ему надо спешить.

Они шли рядом. — Если хотите, — говорил он уже не по воздуху, — у меня есть два билета на концерт знаменитого балалаечника. Впрочем, если она не любит этот инструмент, можно пойти на что-нибудь другое.

Разве дело в инструменте? Разве можно не любить этот инструмент, если можно весь вечер провести вместе. В таком случае прекрасно, всё хорошо. — Помните же, двадцатого числа, в зале прежнего дворянского собрания, в восемь часов вечера.

Неужели до двадцатого числа она его не встретит? А утром... как же, в одиннадцать часов, например?.. Он прячет свою улыку, странную, совершенно особенную, предназначенную только ей, смесь и радости, и восторга и смущения. Его улыбку, как солнечиый луч скользящую где-то в глазах, в складках возле щеки и, наконец, спрятавшуюся в уголках рта. Значит решено, двадцатого в восемь часов вечера.

Она тоже улыбается. Как жаль, что у неё нет на лице такой замечательной, исключительной улыбки. Теперь уже дальше идти некуда. Она остановилась на Фундуклеевской. Это окончательная её остановка. Эта улица... она может заменить им просторный кабинет с кожаной, удобной мебелью. Но сидеть на ней уже некогда. Теперь быстро, быстро надо идти домой, не идти, а бежать, чтобы прийти во-время. — До свидания!

Он пожал ей руку. Она перебежала широкую, бесконечную улицу. Так и есть, он ещё задержался. Он стоял ещё и ждал, когда она перебежит на другую сторону. Она махнула ему рукой, но он не ответил, вероятно, он не видел, а впрочем... Она услышала по эфиру — Люблю... — и ответила ему сейчас же тем же.

Разве не смешно, что о любви они говорили только на расстоянии, они любили друг друга только по эфиру. Странная, небывалая любовь. Если бы они могли рассказать об этом кому-нибудь, кто поверил бы, что это правда, что

такая любовь существует, что это не выдумка, не её фантазия. Но кому она могла бы рассказать об этом? Разве только Георгию Павловичу. Но как она могла доказать ему, что это правда, если правда была скрыта даже от неё. Из каких-то, для неё непонятных, ложных и ошибочных соображений, он никогда, ни одного разу, не сказал ей, что слышит её на расстоянии.

Если она спрашивала его, он старался превратить её вопрос в шутку, что-нибудь сказать, совершенно не относящееся к её вопросу, что-то настолко смешное, что она, неожиданно для самой себя, вдруг, вместо того чтобы рассердиться на него, начинала смеяться, и он тоже, из ледяного, холодного настроения переходил в бурно-весёлое, и они оба смеялись. В этот момент все страшные вопросы, совершенно безумные, отпадали от неё и она с тревогой только думала, что сейчас вот он уйдёт и она снова, до следующего дня будет одна.

Двадцатого числа, в этот памятный для неё день, на концерт они не пошли. Прежде чем позвонить ему по телефону, она спросила его по эфиру: — Фёдор Сергеич, где мы встретимся с вами, на концерте, или? .. она не успела спросить его, как он уже поспешно сказал ей: — Моя деточка, моя дорогая, я огорчён, я так огорчён, как никогда ещё в своей жизни . . . Я не могу идти, экстренная, тяжелая, почти безнадёжная, но необходимая операция. Операция родственника жены в красном кресте.

Она не поверила ему: — Нет, не может быть, ты нарочно говоришь, чтоб меня огорчить! — Она ещё раз спросила его, но он упорно говорил то же. Что же это такое? Неужели они не пойдут сегодня в концерт? Она не верила, она ещё надеялась. Наконец, она позвонила ему по телефону, не доверяя своему разговору по воздуху, но и по телефону она услыхала то же: он очень сожалел, но по независимым от него обстоятельствам . . . Экстренная, безотлагательная операция в красном кресте.

Она готова была плакать. Весь день она провозилась со своим нарядом, со своим единственным парадным платьи-

цем, трижды лицованным, трижды перешитым, но теперь выглядевшим как новое. Это вычищенное, тщательно выутюженное, всё до последней складочки, платье висело в стороне от всей одежды, как-бы боясь испачкаться и измяться. Это платье теперь было таким ненужным, таким никому не интересным. Ей даже захотелось смять его, бросить в общую кучу со всей одеждой, втоптать его вместе со старыми вещами Георгия Павловича. Господи, до чего можно дойти. Она чувствовала себя глубоко несчастной. Она повесила платье на место и постаралась успокоиться. Как всё могло быть по-иному, если бы она попала с ним на концерт.

И вместе с тем её неудержимо тянуло к нему. Она не могла преодолеть это тяготение, это упорное желание видеть его. Она быстро накинула пальто и, крадучись, стараясь тихо ступать, прошла мимо двери бабушки. Они были там вдвоём, бабушка и Люлик. Она беззвучно открыла парадную дверь и вышла на лестницу. Туда... Скорее, как можно скорее, пока он еще дома. Она почти бежала, сталкиваясь с прохожими, не замечая никого.

Вот и его улица. Неужели она пойдёт к нему в квартиру? И зачем? Чтобы ещё раз услыхать, что он занят и не может идти в концерт. Не замечая никого, она подошла к дому, где он жил. Медная дощечка с его именем была прибита к двери. Она жадно прочла, ещё и ещё его имя и фамилию. Надо только решиться позвонить и она будет с ним, пусть ненадолго, пусть на одну секунду, но она увидит его.

Она протянула руку к звонку и нажала кнопку. Продолжительный звонок капризно и настойчиво зазвонил. Нет, это не была просьба, он звонил требовательно и уверенно.

За дверью кто-то зашаркал туфлями, чей-то неприятный, чей-то старческий хриплый голос недовольно спросил: — Кому надо?.. Она ответила, что к доктору, по важному, экстренному делу. Дверь полуоткрылась и в щель высунулась его тёща, заспанная, непричёсанная, в неряшливо накинутом прямо на бельё старом пальто. Она пристальным, внимательным взглядом окинула её с ног до головы:

— Доктора нет дома. — сердитым басом прохрипела она за дверью. Это и всё. Стоило ей так спешить, так бежать, чтоб перед самым её носом так хлопнули дверью. Что могло быть обидней ?

Звук захлопнувшейся перед ней двери долго ещё стоял у неё в ушах. Она спустилась с лестницы и поспешно направилась домой. Значит это правда, что он на операции, раз его нет дома. Как ужасно, что она не верила ему, ведь это главное — вера в друг друга. Сколько раз он обманывал её и говорил неправду, как она могла после этого верить ему. Она сказала ему по эфиру: — Ужаснее всего то, что я абсолютно не верю вам. — Господи, подумала она про себя, — как было бы всё по-иному, если-бы он говорил правду. На что он тотчас-же ей ответил; — Я слышу и люблю.

И тогда, вдруг, она подумала: « За что она любит его ? .. Что случилось с ней ? .. Она готова так страдать, так унижать себя, только чтобы увидеть его. Нет, она больше не будет так себя мучить. Нет и нет, она возьмёт себя в руки и покажет ему, что у неё есть и женское достоинство и самолюбие ».

На улице было пустынно и темно. Единственный фонарь на весь квартал потух. Она подумала, как бы осудил её Георгий Павлович, если бы увидал её сейчас здесь, одну, на этой пустынной, тёмной улице. Она свернула за угол и облегчённо вздохнула. Здесь было светло и людно. Наконец-то она выбралась подальше от него, его квартиры и улицы.

И вдруг щемящая боль сжала её сердце. Эта боль шла от него, от нестерпимой жгучей тоски, охватившей его. — О Боже ! .. — прошептала она, — какая тоска ! .. — Она закрыла глаза и сквозь сомкнутые веки почувствовала, как у нёе выкатились и потекли по щекам две скупых, горячих слезы. Недоставало ещё этого ... — Прости ... — чуть слышно прошептала она, — ты видишь, я плачу.

Он без слов, молча, приник к её руке, она ощутила его близость и поцелуй. Он любит её, любит не земной, не временной, телесной, человеческой любовью, а небесной,

божественной, вечной, бессмертной . . . Эта любовь не знает, что такое предел, для неё нет границ, она вездесуща, как вздесущ божественный дух. Они могут слышать на расстоянии недоступном для человеческого уха, могут видеть на расстоянии, недоступном для человеческого зрения и, наконец, чувствовать друг друга так, будто они находятся рядом. Тот, кто нашёл в себе этот бессмертный огонь, тот и получил его божественную силу — постиг потусторонний, сверхчувственный, скрытый от всех, но существующий в каждом человеке мир.

— Ты слышишь меня ? . . — спросил он, и она, чуть слышно, прошептала: Да, слышу. — Почему он никогда не сказал мне этого при встрече ? . . Почему, когда она встречает его, он всячески скрывает от неё, что слышит её, и не говорит правды ? Этого она не могла понять.

Люлик всё ещё хворал после перенесённого воспаления среднего уха, и врач настоятельно советовал поскорее его увезти куда-нибудь подальше от города и детских эпидемий. Она, также исхудавшая и побледневшая, нуждалась в отдыхе. Георгий Павлович спешил закончить университетские дела, чтобы поскорее выехать.

Она сказала по эфиру: — Ты знаешь, на днях мы уезжаем на всё лето из города. Он ответил ей: — Знаю, но это не помешает нам говорить друг с другом.

Она подумала про себя: — Что это всё значит ? . . Значило ли это, что они будут связаны друг с другом навеки ? . . Что он всегда сможет проникать в её сознание и ловить каждую её мысль ? . . И почему она, без его участия, не может проникнуть в его сознание, чтобы проследить за течением его мысли так, как это он делал в отношении её.

В день их отъезда он, как всегда, шёл по их улице. Из окна она видела, как он проходил мимо. Он шёл неспеша, очень высокий, прямой, в своём сером пальто и фетровой шляпе. Она видела, как он проходил медленно, не глядя на их дом. Но, против её окна он остановился и закурил папиросу. Она видела, как он повернулся лицом

в её сторону и, как бы защищая ладонью огонь от ветра, смотрел на неё. Она сделала ему знак рукой, хотела как то показать, что видит его. Но он тотчас же круто повернулся и пошёл дальше.

Нет, он не хотел, чтобы она знала, как он страдает, как мучительно переживает свою безумную любовь к ней. Он очень хорошо видел её, её тонкое лицо, её глаза, устремлённые на него, эти полные отчаяния и любви глаза, её руки, судоржно вскинутые вверх, как много они говорили ему, эти вскинутые руки, не достигающие его и беспомощно упавшие вдоль тела. — Я с вами ! . . — крикнула она ему, но он уходил от неё неспеша, спокойно, с видом, полным достоинства. Всем своим видом он говорил ей: — Напрасно вы думаете, что я иду мимо ваших окон только потому, что люблю вас и хочу, хотя бы мельком, увидеть вас в окне, совершенно нет. Я иду только потому, что эта дорога мне удобна. Кроме того, может быть мне нужно будет ещё зайти по дороге к больному. И совсем, совсем здесь ни при чём вы, с вашими глазами и руками, так жадно, так нелепо жаждущими моих рук. И он уходил с растерзанным сердцем, дальше и дальше от неё. Завтра она уже уезжала, пусть недалеко, но всё же . . . Её окна опустеют, и он не увидит вечером света в её комнате. Ему казалось, что с её отъездом всё рушилось.

Когда он пришёл в больницу, его позвали к телефону. Он поспешно взял трубку и услышал её голос. Она что то говорила ему, он не мог даже понять сразу, что, так изменился её через край взволнованный голос. Она уезжала не завтра, а сегодня, говорила она, что всё уже готово к отъезду, и она хотела только проститься с ним, хотя бы только по телефону, что ей очень, очень тяжело . . . Боже, говорила она, какое это было бы счастье, если бы он ехал с ними . . . Он пожелал ей всего хорошего. Она услыхала его глубокий вздох. Он положил трубку на место, и это было всё.

Когда она подходила к дому, Георгий Павлович уже стоял на улице и, увидев её, кричал сердитым, взволнован-

ным голосом: — Надо уже выезжать, а ты где то бродишь, даже вещи у нас не все связаны.

Бабушка, с дорожной коробочкой в руках, и Люлик с сумочкой самых необходимых, самых нужных вещей, напустились на неё: — Ходишь, ходишь, а мы тут опаздываем из за тебя ! . .

Она помогла Георгию Павловичу связать большой узел с постелями и вместе с ним вынесла его на извозчика. Извозчик тронулся, бабушка ещё суетилась и считала вещи, Люлик дёргал её за рукав от восторга, что наконец поехали, и она, поддавшись общему оживлённому настроению, озабоченно крикнула Георгию Павловичу, успеют ли они ещё или уже опоздают к поезду. И в этот момент, когда Георгий Павлович, со вздохом облегчения ответил ей, что осталось ешё целых полчаса до отхода дачного поезда, она уже не слушала ни Георгия Павловича, ни Люлика, ни бабушки, она уже вся была с ним.

Она слышала уже его беззвучный, идущий из глубины пространства голос, этот потусторонний, далёкии призыв. Он говорил ей, что он с ней, что никто и ничто не сможет разделить их, что он и она — одно целое, что он её муж и, что навсегда, навеки, он связан с ней. Но всё это было по эфиру, почему он не сказал ей этого при встрече на улице ? Почему он упорно молчал, когда она спрашивала его, сдышит ли он её на расстоянии также как и она его ? Он молчал, он просто ничего не отвечал ей на это, и она не могла понять, почему он молчит и не хочет объяснить, что с ними . . .

И теперь, сидя уже в поезде и удаляясь от города всё дальше и дальше, она ещё раз убедилась, что расстояние, растущее между ними, разделяющее их, не существовало для них. Она слышала его так же хорошо, как и дома, когда говорила с ним по эфиру.

Ты слышишь меня ? — спросила она его, и он, в тот же миг ответил: — Я с тобой, моя дорогая.

Если она ещё сомнавалась и думала, что расстояние между ними может что-либо изменить в их жизни, то сейчас

она убедилась, что расстояние не имеет для них никакого значения.

Поезд увозил её, а его голос, попрежнему, был слышен так же хорошо, как и тогда, когда она шла с ним по улице или сидела у себя в комнате.

Но вот и дача. Как он был прав, когда сказал ей, что её отъезд не помешает им любить друг друга и говорить друг с другом.

— Мы уже приехали, — сказала она ему по эфиру. — Я с тобой, моя жена, — ответил он ей так же ясно и быстро, как говорил с ней в городе. Ей не надо было больше спрашивать его, слышит-ли он её?.. Она почувствовала вдруг всю силу его любви к ней, всю силу его неугасимой страсти. Они были вместе одно целое и неделимое. И это единство чувств, воли и сознания было для них проявлением какой-то неведимой божественной силы, открывшей им свой сверхчувственный, непознаваемый, потусторонний мир.

Это потусторонний мир и сознание открытой ей тайны делали её чем то особенным, каким то иным чем все остальные существом, постигшим то, что для других было недоступно и закрыто.

Иногда она думала, что будет с ней, если, вдруг, он умрёт, будет ли и тогда она слышать его так же хорошо, как теперь, или связь прервётся. Также она думала ещё, как всё относительно в жизни и как всё зависит от случая. Не пойди она в то раннее утро, в снежную метель за хлебом, она никогда бы не встретила его, и её жизнь протекала бы так же, как текла до этого, ничем не нарушая своего однообразного и ничем не замечательного течения.

И в тоже время сознание, что она не одна, что каждая её мысль подлежит контролю с его стороны, что каждое её действие связано с его действием и, наконец, что он и она — это одно целое и нераздельное, вызывало у неё болезненное чувство зависимости.

Он, также как и она, испытывал это потрясающее чувство тайны и, так же как и она, боялся открыть эту тайну, особенно ей. У себя дома он старался скрывать своё на-

строение от всех, но его тёща, « рентгеновские лучи », как он называл её про себя, замечала, что с ним случилось что то неладное и исподтишка следила за ним.

В этот вечер они обе, мать и дочь, как всегд бесцеремонно рассевшись на его софе, где обычно он спал, о чём то многозначительно перешёптывались. — Нет, ты только посмотри на его глаза, — шёпотом говорили Рентгеновские лучи дочери, — ты только посмотри, совершенно сумасшедшие глаза.

Он сидел за письменным столом и рассеянно листал медицинский журнал. Ему хотелось лечь и отдохнуть после тяжёлого рабочего дня с бесконечными операциями. Но он не смел сказать ни жене, ни тёще, чтоб они освободили ему его ложе и дали возможность прилечь. До его слуха наконец долетел зловещий шёпот тёщи: — Нет, ты только посмотри, что за глаза...

Он почувствовал на себе пристальный взгляд жены и сделал нарочно безумные глаза. Он уставился глазами в одну точку и притворился, что не слышит их шёпота. — Видишь!.. Видишь!.. — оживляясь и приходя в раж, шептали Рентгеновские лучи, — совершенно сумасшедшие глаза... — Но, заметив, что он, не сводя с неё глаз, идёт прямо вплотную к ней, она вся съёжилась от страха и спряталась за спину дочери.

— Это у кого сумасшедшие глаза?.. — раздельно проговорил он, — а-а?.. Это у кого?.. — Он протянул руку к ней, как бы намереваясь схватить её, и, не спуская безумных глаз с неё, снова и снова повторил: — Это у кого сумасшедшие глаза, а?..

Тёща, потеряв от страха свой бас, пискнула как мышь и вскочила с софы: — Я ничего... разве я что?.. — испуганно залепетала она, пятясь спиной к двери. Дочь тоже вскочила со своего места, и они обе выскочили из комнаты, захлопнув за собой дверь. Доктор посмотрел на своё освободившееся ложе, усмехнулся и с удовольствием растянулся на нём. За дверью ещё слышался шепот, но он уже не обращал внимания и спокойно отдыхал.

А в это время, пока он воевал со своими домочадцами и пугал их своими сумасшедшими глазами, она наслаждалась природой на даче. Здесь, после городской суеты и шума, стояла необыкновенная тишина. Высокие сосны благоухали свечечками, курили ладаном гнилые пни, над землей изливая тепло, дрожал горячий воздух, и всё ликовало под солнцем, всё жило и пело.

Люлик загоревший и бодрый, без устали носился среди деревьев и зелёных лужаек, отыскивая редкие растения и грибки. А она, всё ещё бледная после своих безумных встреч и свиданий, понемногу набиралась на свежем воздухе сил и здоровья. Летние дни быстро уносились, и она не знала, какой день сегодня и какой был вчера.

Связь с доктором у неё не прерывалась, и она разговаривала с ним так же просто и легко, как и в городе.

Однажды он попросил её приехать пятнадцатого июля на концерт знаменитого баритона. Она получит не меньшее удовольствие, чем слушая самого Шаляпина. — Мне так хочется увидеть тебя хотя бы издали... — добавил он. Она улыбнулась про себя и сказала ему: — Я всё сделаю, чтоб увидеться с тобой.

Пятнадцатого июля она встала раньше обыкновенного и объявила бабушке и Георгию Павловичу, что ей надо проехать в город, чтобы получить паёк. К её удивлению, ни бабушка, ни Георгий Павлович ничуть не возражали, и она быстро собралась и к восьми часам утра была уже готова к поезду. Георгий Павлович и Люлок её провожали на вокзал. По дороге она предупредила Георгия Павловича, что, по всей вероятности, ей придётся переночевать, что она будет не одна, что там Варенька и Игорь, и ему нечего беспокоиться о ней. Распрощавшись наконец, она села в поезд.

Было половина одиннадцатого, когда она была уже у себя на квартире. — Я дома, — сказала она ему по эфиру. — Я выхожу, — ответил он, — и буду через десять минут

возле вашего дома. — Она посмотрела на часы и стала ждать. Когда прошло десять минут, она снова услышала его: — Выходи, я уже здесь . . . — Она быстро вышла, не доверяя ему, что уже здесь, и вдруг действительно увидела его. Он шёл по тротуару прямо навстречу ей. Ещё издали она увидела его смущённую счастливую улыбку.

Она сказала ему по эфиру: — Боже, Боже, до чего я счастлива, что вижу тебя! — Когда он поравнялся с ней, она пошла с ним рядом, сияя, так же как и он, вся от счастья. Он спросил, не собирается ли она на концерт сегодня вечером, она ответила ему, что — да, собирается, и что приехала, отчасти, чтобы побывать на концерте.

— Моя семья также собирается сегодня, — сказал он улыбаясь. — Лицо её на мгновение омрачилось, и она подумала, как жаль, что он будет не один. Возле больницы они остановились. Глядя на неё, он неожиданно, вдруг, сказал: — Вы действительно хорошо выглядите . . . — Она смущённо улыбнулась и подумала: — Что, если ему и сегодня что-либо помешает прийти на концерт? . . — Их глаза встретились и слились в долгом безмолвном взгляде. — Нет, ему никто и ничто не помешает сегодня прийти на концерт, — без слов сказали они ей.

Удивительно, как всё вокруг может, вдруг, измениться: деревья, цветы, птицы — весь мир, всё стать иным. Когда она попрощалась с ним и осталось одна на улице, вдруг преобразился клён возле монастырской каменной стены на тротуаре, приподнялся на цыпочках и зашумел по своему, не как всегда, а радостно, от счастья, а за ним, сбоку на земле, отозвался пышный кустик жёлтых, по весеннему, одуванчиков. И наконец, воробьи, целой гурьбой на пыльной акации, вдруг запели, но не по воробьиному, а как в лунную ночь соловьи, и не на пыльной, а не белой от цветов акации.

И, вслед за всеми, сама она вышла в своём сером, стареньком, выцветшем, несчастном пальто и шляпке. Но как вышла . . . Это он сказал ей, что она победила сегодня весь мир и всё преобразила, всё вокруг по своему . . . А по

эфиру она услышала: — Моя жена, моя единственная, моя неповторимая . . .

На концерт она пошла с Игорем. Он достаточно был уже большой, чтобы сопровождать её. Она купила ему билет и сказала, что ей нужен провожатый. О, как он радовался, что она выбрала его своим провожатым и сказала, что он ей нужен. Он сразу вырос, на глазах, сразу сделался взрослым, всё детское, ещё совсем юное, вдруг исчезло как по волшебству, и он превратился в взрослого молодого человека.

Она очень спешила, чтоб не опоздать. Ведь столько мелких дел было по дому, прежде чем она смогла начать одеваться. И наконец, белая холщёвая юбка и блузка... Но лучше... Что лучше ? .. Эта белая юбка или светлое платье, правда уже сто раз мытое, но всё-таки не из ситца, а из чего-то более тонкого и более дорогого.

Она примерила и то и другое... Платье ! .. Но оно показалось ей таким убогим, и она сама в нём такая... Боже, до чего неинтересная, даже глаза, эти её глаза выглядели бесцветными, как вылинявшие васильки. Она спросила Игоря: — Как ты находишь, не правда ли в этом будет лучше ? .. — Он принял всё это очень близко к сердцу, очень серьёзно, окинул её критическим взором с ног до головы, отступил на два шага назад и прищурил слегка глаза: — Ну, а теперь другое надень.

Она снова поспешно надела платье и, выжидая, что он скажет, смотрела на него. Он прищурил снова глаза и непоколебимым тоном утвердил: — Юбка и блузка лучше. Она надела юбку и блузку.

Концерт был в новом здании кино, с расчётом на большое число слушателей. Но когда они пришли, билеты ещё далеко не все были проданы, и публики было ещё, тоже, далеко не так много. Она спросила его по эфиру: — Ты уже здесь ? — И он ответил ей: — Здесь, сижу в зале справа, в третьем ряду.

Она вошла в зал. Здесь было очень светло. Громадная люстра под потолком и боковые лампы заливали весь зал

ярким светом. Ей нисколько не показалось только, что она слышала его ответ по эфиру: он действительно сидел в третьем ряду. Значит, он сказал ей правду, что придёт на концерт. И, опять таки, этот третий ряд... Она никак не могла ещё привыкнуть к их удивительному разговору по эфиру.

Она остановилась у входа и сразу нашла его в третьем ряду. Но какой изящный и неузнаваемый был он в своём светлом летнем парадном костюме. Рядом с ним по одну сторону сидела толстая тёща, по другую — жена. Он обернулся, когда она вошла, но ему помешал её увидеть какой-то солидный пожилой господин. Он о чём-то очень убедительно и горячо заговорил к нему. Что он мог говорить такое?.. А впрочем, не всё ли равно, самое главное — он был здесь, на концерте, не обманул её.

Но вот он повернул голову, и она увидела, что он ищет её. Ей показалось даже, что он увидел её, но он не проявил этого ничем и продолжал водить биноклем по рядам. Вот он раскланятся с кем-то. Кто это? Какая-то дама, или тот мужчина, что рядом?.. Вероятно, всё-таки с дамой. Вот она охорашивается, поправляет причёску и улыбается. Несомненно с ней. Говорят, что он большой бабник... Неужели это правда? И ещё говорят... Нет, никогда... Она никогда этому не поверит, что он с тёщей, с этой ужасной толстой особой...

Игорь внимательно смотрел на неё: — Хочешь, я куплю програмку? — спросил он её. Она повернула голову и увидела в двух шагах от себя жену доктора. Она стояла в проходе и оживлённо разговаривала с каким-то молодым человеком. Что за красавица! В самом деле, совсем как будто с картины старых мастеров... И платье, откуда у неё такое дорогое, изящное платье? Неужели он так много зарабатывает, что может её так одевать?

Она вынула из сумочки двадцать копеек и дала их Игорю: — Хорошо, Игорёк, купи программу. — Игорь ушёл. Она почувствовала наведенный на себя бинокль. — Мне это неприятно, — сказала она ему по эфиру, — я

предпочитаю, чтоб ты ко мне подошёл, а не смотрел на меня в бинокль. Кроме того, ты видишь, мне решительно не во что было одеться, чтобы иметь приличный вид.

Она услыхала его насмешливые слова: — Тебе никто не мешает стать моей женой и иметь всё, — сказал он раздельно. — Никто... — О, Боже!.. — простонала она ему в ответ. Игорь принёс програмку и подал ей. Первым номером была элегия Масне. В зале притушили свет, на эстраду вышел знаменитый певец.

Мягкий, бархатный, полный печали голос полился откуда-то издалека прямо ей в сердце. Бедное сердце, оно всё затрепетало, всё рванулось от боли, от тоски по неосуществимой любви. Это уже не знаменитый певец пел об ушедшей молодости, а он, её доктор, тот, что когда-то стоял с нею в очереди, в метель, в раннее, тёмное, холодное снежное утро за хлебом.

Она отвернулась и закрыла глаза. Напрасно она хотела скрыть от Игоря, что расстроена, он видел, он очень хорошо всё понимал. Как трудно было ей взять себя в руки, чтоб побороть в себе эту непрошенную, глупую слабость. И всё-таки она взяла себя в руки и поборола в себе все чувства. Теперь уже ей было всё безразлично, даже эти, залитые печалью, высокие ноты и слова: «Всё, всё прошло...». Даже они не встревожили больше. Она сказала Игорю совершенно спокойно: — Правда, что хорошо поёт?.. — Игорь с укором посмотрел на неё. Разве можно спрашивать? Она услыхала его глубокий вздох, походящий на всхлипывание. Бедный мальчик, его добрые глаза так хорошо, так ещё по-детски чисто смотрели куда-то вдаль, куда-то за стены зала. Хорошо, что она пошла с ним, а не с Варенькой.

В антракте она всё-таки вышла в фойе. Игорь шёл рядом с ней. Мельком она взглянула на себя в большое зеркало. О Боже, какой несчастный, убогий, жалкий вид!.. Эта не модная короткая белая юбка и выношенная вконец блузка. Потрясённая, она крикнула ему по эфиру: — Я

хочу быть с тобой, я не могу больше так жить!.. — Он ответил ей очень мягко: — Я с тобой, моя деточка.

Она увидала его. Он стоял с тем же солидным господином и о чём-то говорил с ним. Она проходила мимо, разговаривая с Игорем. Он глубоко поклонился ей, он низко, с глубоким чувством, с глубоким почтением, нет, не с ночтением, а с глубоким благоговением склонился перед ней. Так мог склониться только перед своей обожаемой, своей божественной королевой, её преданный, её верноподданный слуга. Она оценила это, она всем своим существом почувствовала себя вдруг счастливой.

Ей не показалось, — он на самом деле её переодел в новое платье, самое замечательное, в дорогой королевский наряд.

Когда окончился концерт, она увидала его возле выхода. Он стоял один и смотрел на неё, публика толкала его, но он не замечал ничего. Высокий, выше всех в толпе, он не обращал внимания на толчки. Она ринулась к нему, стараясь пробраться через толпу. Но Игорь, следовавший по пятам за ней, вдруг громко вскрикнул: — Марися, а где же твой жакет?.. — Это было самое ужасное. Она забыла свой жакет на кресле, где сидела.

Ей ничего больше не оставалось, как повернуть обратно и взять свой жакет. Но когда они подошли к креслу, на кресле жакета не было. — Уже кто-то стащил... — огорчённо сказала она. Но Игорь вдруг громко рассмеялся и вытащил жакет из под полы пиджака. — Я нарочно напугал тебя — сказал он смеясь, — чтоб напугать тебя, а ты и не заметила!..

Нет, ей совсем не было смешно. Ах Игорь, Игорь, какой же ты недобрый!.. — сказала она ему серьёзно, — мне так важно было выйти вместе с публикой, и так важно было попасть на первый после концерта трамвай, а ты всё, всё перевернул и помешал мне...

По эфиру она сказала доктору: — Подожди меня у входа, я сейчас буду... — Но он ответил ей: — Я не один, со мной Рентгеновские лучи и жена.

Напрасно она спешила к выходу, у выхода его не было. Мокрые после дождя тротуары блестели, свежий воздух, напоённый запахами цветов, сшибал с ног. Она остановилась, упиваясь этим неожиданным ночным подарком. Запахи неслись от палисадников, от клумб и газонов перед домами, от цветущих лип. И от всего этого ароматического сумбура кружилась голова.

Она глубоко вдохнула в себя все эти ароматы разом и восторженно воскликнула: — Боже, до чего всё хорошо!.., Ты слышишь или нет, как чудно пахнет всё после дождя?.. — И он ответил ей по эфиру: — Слышу, моя деточка, моя любимая, моя жена!

И долго, долго в эту ночь она не могла уснуть. Ей всё мешало. То ей чудилось, что он где-то здесь, что стоит только приоткрыть дверь, и он сразу войдёт. То ей было страшно, в комнате было душно, и спущеные шторы нагоняли страх. Что с того, что в проходной кмонате спали Варенька и Игорь, они спали так крепко, и были так далеко от неё.
Нет, она была совершенно одна, и если-бы кто-либо вошёл сейчас, никто, ни Варенька, ни Игорь, ни студенты-квартиранты, ни один человек не услыхал бы, что кто-то вошёл.

Она закрыла глаза. Где-то далеко часы пробили три. Три часа, подумала она, а что если-бы сейчас он действительно вошёл к ней в комнату? Бабушка была так далеко, и Люлик, и Георгий Павлович тоже, и она была совершенно, совершенно одна. Незаметно для себя она стала дремать. Ей что то как будто даже приснилось, кажется Люлик, но ещё маленький совсем, грудной. Он просил молока и плакал. Она встала, чтобы покормить его и вдруг очнулась.

Шторы на окне громко хлопали от ветра, в комнате было свежо, и она вся продрогла под одной простынёй без одеяла.

— Закрой окно, — услыхала она его голос по эфиру, — ты спишь с открытым окном, и кто-нибудь ещё влезет к тебе!.. — О Господи!.. — воскликнула она, — как

это случилось, что она забыло закрыть окно... Испуганная, она вскочила с постели и, подбежав в окну, приоткрыла штору. Как страшно... Одна, и вдруг открытое окно. Она прихлопнула обе оконные створки и закрыла задвижку.

Посредине улицы, против её окна стоял доктор. Свет от фонаря освещал его высокую фигуру. — Боже!.. — Это всё, что она могла прошептать. Он был так близко, и ей ничего не стоило теперь открыть ему дверь, ничего не стоило спасти его от этой пустой, страшиой улицы, спасти его от одиночества, от тоски, от смерти, уже нависшей над ним, где-то близко, в темноте. — Федюша!.. — простонала она, охваченная безумной тревогой за него, — тебе открыть дверь?.. О, милый мой, дорогой!..

Она хотела отойти от окна, броситься к двери, открыть её и впустить его, но вместо этого она продолжала стоять на месте, пригвождённая напонятной дея неё силой. Она не двигалась. Она видела, как он повернулся спиной и нерешительно, медленно зашагал посредине улицы... Одии, по страшной, пустой, тёмной улице. Содрогаясь, она упала на кровать. — Мой дорогой, мой бедный... — корчась от душившей её тоски, — шептала она. — За что, за что ты полюбил меня?..

Больше она не ложилась. Очень рано, ещё до рассвета, она уже оделась, чтобы бежать на вокзал, поскорее туда, обратно на дачу. Ему она сказала по эфиру: — Я уезжаю, мой дорогой, через двадцать минут отходит поезд. Прощай, прощай, мой любимый, мой муж... — Она услыхала его болезненный, похожий на стон вздох.

Георгий Павлович и Люлик её встретили на вокзале. Как хорошо вышло, что она поехала за пайком, очень кстати. Ей удалось получить копчёную рыбу, сало, сахар и даже фунт ветчины. На этот раз очень хороший паёк. Она крепко прижала к себе головку Люлика, целая вечность прошла, как она видела его... — Ну, как, всё благополучно?.. — Георгий Павлович взвалил на плечи рюкзак, и они мирно зашагали через рельсы по путям и, наконец, по шоссе, по дороге прямо к даче. Бабушка уже шла нав-

стречу им. Какая ещё красивая и бодрая, со своим румянцем во всю щеку и живыми, весёлыми, умными глазами. — Приехала наконец, ну слава Богу... — сказала она вопросительно, оглядывая спину Георгия Павловича, — Привезла паёк ?.. — спросила она. — О да ! — ответила Марися, — очень кстати поехала, давали добавочную рыбу и ветчину, успела захватить и то и другое.

И снова всё так, как было и прежде. Люлик на пляже выгревался на солнышке, Люлик ходил на прогулку в лес, Люлик с Георгием Павловичем собирали коллекцию яблок-дичек... Люли, Люлик и Люлик... Она была полна им. Как хорошо, что они выехали из города, в городе появилась скарлатина. — Я думаю, — сказал Георгий Павлович, — нам придётся задержаться на даче... В городе, говорят, началась эпидемия скарлатины.

И они задержались на даче. Дачи опустели, дачники давно уже разъехались по домам, а они всё ещё сидели в лесу. Берёзы уже пожелтели и роняли на землю свои маленькие золотые листья, покраснели клены, дико и пронзительно кричали в лесу сойки, жалуясь на одиночество. И на даче уже по ночам было холодно.

Она спрашивала его по воздуху: — Что мне делать, как ты посоветуешь, выезжать уже или ещё подождать ?.. — И он ответил ей: — Скарлатину не пересидишь, а если охота сидеть — сиди. — Позже он сказал ей, что уезжает на месяц в отпуск, в Сочи. — Ты один едешь или с женой ? — спросила она его. Он резко ответил ей, что без жены, с тёщей. Это было для неё ударом в сердце: почему с тёщей, а не с женой ?.. Что могло быть у него общего с этой неприятной, грубой особой, и откуда деньги для неё, чтобы везти её на такой дорогой, недоступный курорт ? И всё-таки он уехал с ней. Теперь их уже разделяла тысяча вёрст, но они слышали друг друга попрежнему и говорили по эфиру так же свободно, как и раньше.

Какая мокрая, холодная осень !.. Началось бабье лето, но солнце скрывалось за нависшими тучами, и горы желтых листьев покрывали дорожку к калитке и налипали на по-

дошвы. Георгий Павлович рано поднимался, чтоб не опоздать на поезд. Стараясь не шуметь, он копался возле своей кровати, что-то укладывая себе на дорогу. Она зажигала примус и готовила ему чай.

Дни становились короткие, и так трудно было успеть что-либо сделать. Нет, дальше оставаться на даче не было уже никакого смысла. Георгий Павлович имел усталый, измученный вид, и один только Люлик, виновник общих неудобств, чувствовал себя прекрасно.

В одно из воскресений они упаковали вещи и, не раздумывая более, переехали в город. Она сказала ему по эфиру: — Мы уже в городе, переехали в это воскресенье. — На что он ответил ей: — Я тоже собираюсь уже домой, надоело, и Ренгеновские лучи заели...

Они встретились возле хлебной лавки. Он подъехал трамваем и сошёл в том месте, где она как раз собиралась сесть, чтобы ехать в город. — Здравствуйте, Фёлор Сергеевич!.. — радостно воскликнула она, — вы уже приехали... — Но увидав его осунувшееся, усталое лицо, она подумала про себя: — Как ужасно, что он не отдохнул и совсем не поправился. Ей показалось даже, что он выглядит много хуже теперь, чем до поездки в Сочи, — значит, он недаром говорил ей, что тёща заела его, — подумала она.

Она спросила его: — Довелен ли он своей поездкой? — Он усмехнулся и ничего не ответил. Мог ли он быть доволен своей поездкой?.. Зачем спрашивать? Едва коснувшись рукой шляпы, он сказал, что очень спешит, что его ждёт тяжёлая, большая операция, и он должен бежать. Он ушёл, а она с обидой на душе смотрела ему вслед и думала. За что, за что на её долю выпало такое испытание?

И в тот момент, когда она так думала, она услыхала уже его голос. Он снова просил, он умолял её быть его женой. — Я твоя жена... — горячо сказала она ему, — вся твоя, и не знаю, как можно больше любить тебя. — Его голос из глубины пространства грустно долетал до неё: — Я с тобой, моя жена, моя любимая... Прости...

Утром она встала, как всегда рано, чтоб приготовить

Георгию Павловичу завтрак. Бабушка всё ещё была нездорова и кашляла. В комнате было холодно, но о топке не могло быть и речи, дрова сохранялись для морозных зимних дней.

Уже с раннего утра она слыхала его беспокойный, требовательный голос. Он просил её выйти в одиннадцать часов. Она не решилась сказать ему, что ей трудно выйти, что у неё много дела по дому, что вещи ещё не распакованы, в комнате беспорядок, бабушка нездорова, и она должна всё купить и приготовить к обеду. Она сказала только: — Я постараюсь...

Но он уже услыхал её мысли и колебание. — Ты не любишь меня, я один... — Напрасно она старалась уверить его в своей любви, он обиженно и упорно твердил только, что он один, и она не любит так, как должна любить жена.

В одиннадцать часов утра она вышла из дому. На улице его не было, она подошла к самой больнице, думая, что здесь скорее его встретит, но и здесь он не шёл. Она ходила по тротуару взад и вперёд, нетерпеливо ожидая его и, время от времени, разговаривая с ним по воздуху. Он говорил ей, что сейчас будет, что идёт самой кратчайшей дорогой. — Смотри вдоль улицы, — говорил он, — ты сейчас увидишь меня... — Она смотрела вдоль улицы, но его не видела.

Часы на башне пробили двенадцать. Целый час она ходила по тротуару взад и вперёд, ожидая его, а он не шёл. Неужели она могла не заметить его, когда он проходил в больницу? Нет этого никак не могло случиться, он не мог пройти мимо, незамеченный ею. Она спросила его: — Ты ещё дома? Скажи правду, зачем ты обманываешь меня? — Он ответил ей: — Сейчас буду в больнице, задержал трамвай, и пешком скорее буду, чем трамваем...

Она снова поверила ему и стала ждать, но он не шёл. Что всё это значно? Зачем он обманывал её? Сейчас она спросит в больнице, пришёл ли уже доктор Одинцов, или ещё нет, и таким образом проверит его. Она быстро перебежала улицу и направилась к больнице. В больнице она

спросила первую попавшуюся сестру: — Доктор Одинцов уже пришёл или нет? — И сестра ответила, что доктор Одинцов давно уже в больнице, но сейчас занят на операции. Поражённая, она смотрела на сестру, ничего не понимая. Наконец она сказала ему по эфиру: — Зачем, зачем ты меня обманул?

Когда она пришла домой, Люлик сидел в комнате, вместо того, чтобы быть на свежем воздухе. Бабушка не могла выйти с ним, так как ещё чувствовала себя больной, и он сидел в неубранной, неуютной, непроветренной комнате, беспорядочно заваленной нераспакованными вещами.

— Где ты была?.. — недовольно спросила её бабушка. — Давно пора вывести Люлика гулять, а тебя всё нет... — Не раздеваясь, она поспешила одеть Люлика и вышла с ним во двор. Где она была? Не всё ли равно, где. Была там, где хотела быть. Но отчего так тоскливо, так мучительно тяжело на сердце? Что всё это значит? Почему он не захотел её видеть после такого длительного летнего перерыва?

Она стояла во дворе, на ветре и нетерпеливо ждала, когда наконец Люлик нагуляется и захочет в комнаты. Дома было так много дела, она падала от усталости. Что делать с грязным бельём, накопившимся за последнее время? Что делать с грязными полами в комнатах, ни разу не мытыми за всё летнее время? И пыль, пыль толстым слоем на окнах, на комоде, на столе Георгия Павловича... С чего начать? И она принялась за всё сразу. Отложила в сторону самое необходимое бельё для стирки, это во-первых. Стёрла пыль, невозможно было смотреть на этот толстый слой и паутину по углам. И под её быстрыми руками всё становилось на место и начинало блестеть.

Она позволила себе даже маленькую роскошь, растопила печь. Ведь надо же где-то просушить бельё. И это была вполне законная причина. Как сразу тепло и весело стало в комнате. Дрова потрескивали в печке, пол блестел,

как натёртый воском, и две рубашки Люлика и штанишки уютно сушились на тонкой бечёвке, протянутой вдоль печки.

А на дворе моросил дождь, и было так по-осеннему грустно, так сыро, так пасмурно и скучно. И несмотря на всё, ей не хотелось ни тепла, ни вкусной пищи, ничего, и хотелось только одного: быть с ним, видеть его, смотреть в его голубые глаза, ловить его улыбку и скользить, скользить вместе с ним где-то по дну его души, где скрывалась их безумная любовь. Зачем всё это? Зачем, если нельзя было ни любить, ни радоваться, ни жить так, как хотелось жить. Она готова была плакать от боли, от тоски, от желания быть с ним.

— Мама, почитай мне, — просил Люлик, и она читала ему. После приходил Георгий Павлович, усталый и голодный. Она разогревала ему борщ и, не ожидая пока он кончит есть, уже набрасывала на себя пальто и выбегала на улицу. Она оправдывалась чем-то . . . Ах, не всё-ли равно чем. Ей просто необходимо было видеть его, она не могла, не желала более говорить с ним только по эфиру.

Ведь это так ужасно . . . Она не верила ему. После того утреннего ожидания, после той настойчивой просьбы встретить его в одиннадцать часов утра, вдруг не прийти и продержать её полтора часа на улице, на осенней слякоти, холоде, — разве можно было после этого верить ему? Нет, она больше не верила ему. Неужели только за то, что она подумала, только подумала, что ей трудно выйти утром, когда в доме так много работы, он уже не встретился с ней.

На другой день утром, в одиннадцать часов, она не вышла. На его просьбу выйти, она ответила не ему, нет, а кому-то, кто мог услыхать её: — В одиннадцать часов утра я буду стоять возле окна. Если угодно, её можно будет там увидать.

В одиннадцать часов утра она подошла к окну и стала ждать. Мимо окон прошёл трамвай. На подножке висели, рискуя сорваться, люди. Как сквозь туман она видела этих людей, возможно и он был там. Вагон промчался, промель-

кнул и исчез. Ехал он или нет? .. Она не хотела говорить с ним по воздуху.

Бабушка окликнула её, Люлик поранил пальчик и плакал, надо было прижечь йодом. Она, не отрываясь от окна, позвала его: — Смотри, — сказала она, — сейчас будет ехать трамвай, а Иоська подложил петарду, вот будет встреча, только держись! — Люлик перестал плакать и ждал выстрела, а она, пока он ждал, прижгла ему палец йодом.

Когда проехал трамвай, она увидала доктора. Он шёл спокойно, совершенно неспеша, полный достоинства и своего превосходства. Что ему сказать? .. Как дать знать, что она видит его и рада, нет, не рада, а счастлива, нет, не счастлива, этого слова мало, как вся она с ним, как вся стремится к нему и не может, не смеет не стремиться, не быть с ним...

Но он шёл мимо, совершенно не замечая её. Можно было с ума сойти от его равнодушия, его олимпийского спокойствия. Она не выдержала и, по воздуху, крикнула ему: — За что вы мучаете меня? .. Вы же видите меня? — Но он ничем не показал, что слышит её, и продолжал идти, не оборачиваясь к окну.

И только, когда она, не выдержав, открыла окно и, высунувшись до половины из окна, крикнула ему, не своим, а каким то чужим, отчаянным голосом: — Фёдор Сергеич! .. — он остановился, и она увидала, что он улыбается ей своей особенной, как солнечный луч озаряющей лицо, улыбкой.

Его глаза смотрели на неё, эти голубые, преданные, любящие безумно глаза. Он подошёл к окну и, как бы не понимая, что творится с ней, спросил её: — Вы звали меня? .. — Боже! .. — громко простонала она: — я ничего, ничего не могу вам сказать... — Он видел это отчаяние, это признание, но снова сделал вид, что не понимает её, и зашагал дальше с таким деловым, таким занятым, удовлетворённым видом.

Люлик дёргал её за рукав: — Ты говорила, что

Йоська подложил петарду? Мама, ты слышишь? — Нет, она ничего не слыхала. Она смотрела в окно, пригвождённая взором к его удаляющейся фигуре. Всё дальше и дальше... Вот он поднялся на горку, вот спустился, вот повернул за угол и исчез. — Боже!.. — Она закрыла лицо руками. Люлик смотрел на неё такими испуганными, большими глазами. — Мама, ты говорила, Йоська?.. — Да, да, да, да... Йоська... — Она ничего больше не могла сказать, она опустилась на стул и, сжав руками голову, громко стонала: — У меня болит голова, — как бы оправдываясь, сказала она Люлику. Сидеть здесь в комнате и не идти, не бежать за ним, какая это была пытка!..

И она сидела в комнате и ждала, она сама не знала, чего. Ведь он пошёл в больницу, где были его больные, где он не имел ни минуты отдыха, и где его искусные руки терпеливо делали своё чудодейственное, спасительное дело. Впрочем, она не долго сидела так. Вошла бабушка и передала, что забегала Маргарита, говорила, что дают добавочный хлеб и ячневую крупу. Прекрасно, она сейчас пробежит и принесёт и то и другое.

Напрасно Люлик надеялся, что слезами удержит её. Она ни на что не обратила внимания и в одну минуту оделась и вышла из дому. Она не расчитывала встретить его, да и смешно было надеяться. Какая могла быть встреча с ним, если он только что, две минуты назад, был здесь и говорил с ней. Несомненно у него и сегодня операция, и он будет занят до пяти, шести часов вечера. И всё-таки она, вопреки всему, верила, что встретит его сейчас, именно теперь, как только вырвется из дому.

И она не ошиблась. Она увидела его недалеко от их дома. Он стоял на углу и ждал трамвай. Он уезжал обратно, домой. Она хотела сказать ему, что ей необходимо поговорить с ним, что ей очень, очень тяжело, что она погибает, что она не может так жить, и он должен помочь ей, сказать, что ей делать, как побороть в себе эту безумную тоску по нём, это безумное желание быть с ним, видеть его, говорить с ним.

Она почти бежала к нему, она была близко, уже подбегала к нему, как вдруг из за угла показался, весь переполненный, весь набитый людьми — люди висели на ступеньках — трамвай. Она подумала: какое счастье, что трамвай так переполнен, и он не сможет попасть в него. Но в ту же минуту она увидела его высокую фигуру, цепляющуюся за поручни трамвая. Трамвай медленно отходил. Она подбежала и тему и успела ешё испуганно крикнуть: — Фёдор Сергеич, что вы делаете ! .. Господи Боже мой ! ..

Но он успел уже ухватиться руками поверх всех рук, уцепившихся, как и он, за поручни, и стать одной ногой на ступеньку. Она видела его другую, повисшую в воздухе ногу, и с ужасом подумала, что вот-вот он оборвётся и упадёт. Трамвай покатился с горы, и она ничего больше не могла ни сказать, ни сделать. По эфиру она слышала:

— Я с тобой, моя дорогая, моя любимая, моя жена . . .

Она недаром беспокоилась о нём. Вагон, при спуске с горы, разогнался и, проскочив остановку, во весь дух летел дальше. Когда он наконец остановился, доктор с трудом оторвал от поручней окоченевшие, бесчувственные руки и соскочил на тротуар. Хватит на этот раз. Действительно езда. Он с удовольствием зашагал по тротуару, не переставая думать и переговариваться с ней.

Этот разговор не был больше для него чудом. Его мысли, желания, вся его воля, всё было с ней. Ей стоило только сказать ему: — Я твоя, бери меня . . . — как он вырвал бы её, унёс и навеки спрятал бы от всех. Куда ? .. — О, он нашёл бы такое место, где были бы только он и она. Может быть и нашёл бы . . . Трудно думать теперь о чём-нибудь таком . . . Разве можно верить, что есть такое место в этом подлом, жутком царстве ГПУ ? ..

На утро, в одиннадцать часов, он снова и снова просил её выйти к нему навстречу. На этот раз она не противилась больше. Они встретились сразу, как только она вышла из дому. Он смущённо и радостно смотрел на неё, стараясь спрятать куда-то свою солнечную улыбку, а она, взволнованная и смущённая, шла рядом и молчала. Ни одного

слова она не могла выжать из себя и даже по воздуху молчала. Это было так нелепо, так глупо и смешно. Идти вдруг рядом и молчать. — Что вам нужно от меня, сударыня ? .. — мог он сказать. — Что вы меня преследуете ? — Но этого он не говорил, хотя её обиженное сердце болезненно ждало такого вопроса. Конечно она могла ему сказать: — Не я, а вы преследуете меня, потому что вы каждое утро просите меня выйти к вам навстречу. И, если я не выйду, вы . . . — Она зажмурилась вся, как от яркого солнечного света. Где то в небе она увидела низко над ними отлетающих журавлей. Их взволнованный, тревожный призыв долетел до неё. Он заметил это невольное её движение, это скрытое желание улететь, и молча остановился рядом с ней. Ей видно было его устремлённое, просветлённое лицо, оно как бы говорило ей: — Как хорошо, о, как хрошо . . . если бы мы могли присоединиться к ним . . .

Разве можно было думать об этом ? .. Разве можно желать, того, что никогда и ни при каких обстоятельствах не могло осуществиться. Птицы улетели, а они всё ещё стояли и смотрели им вслед.

Она тихо позвала его: — Фёдор Сергеич, не правда ли, они зовут нас следовать за ними ? .. — Он повернул голову в её сторону и, не глядя, сурово сказал: — Нет, они говорят: — Сидите на месте, у вас нет крыльев, вам нечего пытаться улететь . . .

Он ушёл в больницу, а она осталась одна на улице, на холодном ветру, на осенней слякоти. Густой мокрый туман обволок её, липкая сырость цепко легла на неё, на деревья, на дома, тротуары, всё было мокрое, холодное, пронизанное туманом. Как тоскливо и невесело было вокруг. Она смотрела на окна домов, на облетевшие, озябшие деревья, и чувство одиночества, чувство потерянности в этом мире охватывало её. Нет, скорее домой, туда, где уютная бабушка, где маленький, капризный, но уже размышляющий обо всём мальчик, где всё так скудно и бедно, но всё так близко и дорого.

Она почти бежала, ей казалось, что дома могло что-

либо случиться без неё, что не могло не случиться без неё, когда ей так хотелось, чтобы всё было благополучно, так хотелось скорее достигнуть этого дома. Запыхавшись, она наконец взбежала по знакомым ступенькам. Люлик сам открыл ей дверь: — Где ты была так долго? .. — сердито спросил её. Она крепко прижала его к себе. Как хорошо в такую холодную, слякотную погоду быть дома. Даже холодная печь показалась ей горячей.

Бабушка шила из своей старой юбки Люлику штанишки. Люлик следил за каждым движением её руки. Теперь у него будут настоящие длинные штаны, как у папы, а у Серёжки, Васьки, Еськи не будут. — Бабушка, когда ты была маленькая, над тобой смеялись дети?

Бабушка посмотрела на него поверх очков: — Всяк бывало, Люлик. — Прошлый раз, когда он только показался в своей новой курточке, бабушка сама ему сшила из папиных старых брюк, дети все, даже глупая девчёнка Муся, все начали смеяться над ним. Хорошо, что вышла мама и сразу прекратила смех. Они начали играть в прятки, и он с ними. Если бы ему не было так скучно во дворе одному, он ни за что не играл бы с ними, но одному скучно, очень скучно... — Бабушка, а когда ты была маленькая, тебе было скучно во дворе одной? ..

Бабушка снова посмотрела на него исподлобья, поверх очков: — Нет, Люлнк, мне никогда не было скучно, когда я была маленькая.

Легко сказать, никогда не было скучно... Но, конечно, бабушка знает, что говорит. Вот маме скучно, она даже не может посидеть дома и всё убегает и убегает... Как будто на улице веселее.

Люлик посмотрел на руки бабушке, она шила так быстро. — Бабушка, ты скоро сошьёшь? .. — Скоро, Люлик. — Пришьешь пуговицы и всё? .. — Да, Люлик, пришью пуговицы и всё. — Люлик вздохнул. Когда бабушка шила, а не читала ему, всегда было трудно долго сидеть на одном месте. Но вот позвонила мама. Очень хорошо, что она наконец пришла. — Распределитель, распредели-

тель . . . — ничего другого не услышишь от неё. Как будто ничего другого и нет на улице, кроме распределителя. Он вытащил ящик с инструментами из-под папиной кровати и стал мастерить. Надо придумать вечный двигатель. Папа говорит, что это очень, очень важно, вечный двигатель.

А ей было некогда, как всегда тысячи всяких мелких, всяких неприятных и скучных дел, требующих её рук. Она прекрасно знала, что только она одна могла сделать и то и другое, только она, а не бабушка или кто другой. Вот и сейчас на спинке кровати она увидела наготовленные ею, ещё с вечера, для штопки, две пары носок Георгия Павловича. Но вместо того, чтобы поштопать эти совсем рваные носки, требующие немедленной починки, она ушла из дому и столько времени отсутствовала. Хорошо ещё, что бабушка молчит и не понимает, куда она уходит. Да, конечно в распределитель, куда же может пойти ещё она, кроме распределителя. Бабушка молчит . . .

Ах, эти короткие дни, эти заплаканные стёкла на окнах, мокрые, чёрные деревья на улице и фонари. До чего рано они уже загорались и рано, в сумерки, как поздней ночью, одиноко качались от ветра, мигали и вздрагивали и снова мигали, но не тухли. И она среди улицы, одна со своим безумным желанием видеть его, смотреть на него, говорить с ним. Как пресечь эту безумную слабость духа, как покорить её. Нет, не ей побороть дьявольское наваждение, дьявольское искушение, дьявольскую страсть.

Он знал, где её встретить, он появлялся неожиданно, откуда-то из темноты, из проулка, из за угла старого дома, откуда-то из незнакомого палисадника, где-то . . . Где сеял дождь, как сквозь сито, где чья-то мокрая, с завалившимися боками собака, голодная собака жадно обнюхивала каждую соринку в поисках пищи. Он появлялся неожиданно из темноты, с папиросой светящейся в темноте, высокий, такой, что не было никаких сил дотянуться до его губ. Он жадно оглядывался, нетерпеливо искал глазами направо и налево и, вдруг, увидев её, весь менялся и его нетерпение сменялось безразличием, полным равнодушием и спокойствием.

Он вежливо здоровался с ней, любезно спрашивал как она поживает и шёл неспеша рядом. Это неважно, что был неурочный час для больницы, ему необходимо было кое-кого повидать там, кое-кому кое-что сказать, одним словом ему было по-дороге с ней, по одному пути, в одну сторону, и они шли рядом до самого её дома.

— Вас уже ждут ? .. — улыбаясь спрашивал он, и она отвечала неслышно: — Да, ждут ... — И они прощались.

Дома всегда её ждали, всегда беспокоились, всегда нетерпеливо выбегали открывать дверь, всегда укоряли: — Где ? .. зачем, куда ходила ? За то дома было хорошо после этих тёмных улиц, после холодного ветра, после этого нервного ожидания, что откуда-то, где-то появится он, непременно встретится с ней, всегда случайно, всегда по делу, мимоходом, но по дороге с ней. Как он узнавал, где она находилась, где шла, по какой улице ? .. Она ничего не могла понять, ей было очевидно только одно: с ними происходило что-то, что было выше их человеческого понимания.

Дома она отдыхала. Книги и книги. Они лежали везде, на самодельной полке возле печки, на столике Люлика, над кроватью Георгия Павловича, на этажерке рядом со шкафиком, за которым прятался умывальник, везде, где только можно было их положить. Теперь, когда в доме уже все спали, она и Георгий Павлович бодрствовали. Георгий Павлович что-то писал, а она, крепко укрывшись, что то ещё пытатлась прочесть смыкающимися от усталости глазами. Это было выше её сил, но она не сдавалась, всячески старалась побороть сон.

Какое довольное, удовлетворённое лицо было у него, когда он встретил её утром, в одинадцать часов. Он шёл и улыбался. Утро было сырое и холодное. Мокрый туман оседал на землю и деревья, на ветках висели прозрачные, холодные капли.

Она с удовольствием посматривала на свои ноги, на них были блестящие, новенькие мелкие калоши, настоящие калоши фабрики « Треугольник », с бою полученные ею в большой, тесной очереди. Во всяком случае, ей удалось

их получить, и она была счастлива, что в такую сырую, ненастную холодную погоду её ноги были в тепле.

Его она увидела не сразу. Он шёл неспеша, как всегда мимо их дома. Когда он приблизился к ней, она смущённо заметила на его ногах такие же как у неё блестящие новые калоши. Каким образом он получил их? .. Неужели стоял так же, как и она, в очереди? Нет, конечно, несомненно, что в этом помог ему кто-либо из его пациентов. Она смотрела на его ноги, а он на её. Давно уже не было на них такой роскошной обновки. На его лице блуждала улыбка, ему, также как и ей, было смешно и неловко, что они могли радоваться такой ничтожной, незатейливой обновке.

— Советская радость, — сказал Георгий Павлович, когда она, усталая, но счастливая, пришла домой с калошами в руках.

На этот раз она его не провожала, они поздоровались и только. Всё было благополучно, он здоров и она также. На ногах новые калоши. Всё обстоит, как никогда, хорошо. На одну минуту его глаза, его голубые глаза сказали ей: — Доброго утра, мой ангел! .. — И в тот же миг её глаза ответили ему: — Доброго утра, мой дорогой!

Разве можно понять, что творилось с ними? Разве можно спрятать сердце или вынуть душу, или забыть весь мир, страдания, старость, смерть и любить... Любить без мыслей, без сожалений, без слов...

Нет, для неё это не было возможно. Она не могла быть счастлива без Георгия Павловича. Она знала, что как упрёк, как обида, перед её глазами будут вставать мгновенные, но яркие воспоминания об их утерянной любви. Вот и сейчас ей вспомнились первые дни их знакомства. Занесённые снегом улицы, весеннее журчанье воды под тающим снегом и громкий, взволнованный крик где-то высоко на деревьях прилетевших грачей. Георгий Павлович провалился в снег. Она вскрикнула, засмеялась и тоже провалилась в снег. — Жорж, спасайте! .. — крикнула она протягивая ему обе руки. Он схватил её руки и притянул к себе: — Боже... — прошептал он, — как я люблю вас! .. — Смущённая,

она смотрела на него растерянными, счастливыми глазами. Всё было так хорошо, разве могло быть лучше ? .. Разве можно было не верить или сомневаться в счастье ? Счастье . . .

Но всё-таки счастья не было, счастье уплыло тогда, исчезло, провалилось вместе с весенним снегом . . . И навеки, навсегда оставило их. А где же любовь ? Почему никогда не было восторга или радости ? Почему вместо любви всегда была серая, как туман, скука ? .. Ах, эта паутина, эта тяжёлая, без просвета жизнь. Она поглотила всё до конца, потушила всю радость, всё тепло и сделала их жизнь холодной, пустой и скучной.

Холодно . . . Она содрогалась от холода. И как угрызения совести, как укор, изо дня в день стоял перед ней худой, длинный, отвергнутый ею навсегда Георгий Павлович. Это он сказал ей: — Теперь не время думать о наших отношениях . . . О какой любви может быть речь, когда мы все подыхаем от голода ? .. — Но она, как-будто на зло всем, думала . . . нет, верила, что придёт любовь.

Как это случилось, она не знала. Любовь не могла её обмануть, она жила где-то здесь, где-то близко, рядом, и должна была её найти. Кто он ? .. Кто подстерёг её, и кому понадобилась она со своей опустошённой, безрадостной жизнью ? Неважно, что так поздно и так случайно произошла их встреча. Но почему нельзя было встретиться им без морозного утра, без голодной очереди за хлебом, без снежной метели ? Почему ? Почему так печально всё происходило только по-эфиру ? Почему их любовь, как таинственный дух, стала между ними навсегда неразгаданным, таинственным и непонятным призраком ?

Кто мог ответить ей на это, кроме него, облегчить её сознание и раскрыть тайну их брака по-эфиру ? Где была его любовь к ней или просто жалость ? .. Сколько раз ловила она на себе его взгляд, этот испытующий, молниеносный взгляд, исчезающий от неё куда-то в глубину орбит, где она не могла уже его поймать. Почему он не хотел ей сказать, что слышит её на расстоянии, что говорит с ней,

любит её? Почему?.. Этот вопрос остался для неё навсегда, навеки закрытым. Она уже и не старалась проникнуть в сокровенную тайну. Она только ждада терпеливо, без слов, но с неугасимой надеждой, что придёт день, и он сам скажет ей и всё объяснит.

А вечером, когда Георгий Павлович наконец тушил свет, и когда в комнате водворялась тишина, для неё наступали блаженные, неповторимые минуты. Он говорил ей о вечной любви, о счастье, о радости... И она засыпала под его любовный шёпот.

А на дворе, как дождь, шуршали сухие листья. Ветер уносил их, гнал по тротуару, нёс вихрем по улице, и они шуршали и шуршали за окном, как будто шумел беспрерывный, затяжной дождь.

Она не слыхала ни дыхания Люлика, ни похрапывания Георгия Павловича, ни шороха спрятавшейся в диване мыши. Она спала, а по улице, против её окон медленно проходил доктор. Куда он шёл и зачем? Он и сам не знал, куда и зачем. Он смотрел на тёмные, неосвещённые окна её комнаты и думал о ней. Вот она, его жена... Та, что предназначена ему природой... Так близко и так далеко от него. Кто решился бы сейчас, глубокой ночью, идти по этой безлюдной, далёкой улице, чтобы увидеть не её, а только дом, где она жила? Он думал о своём странном счастье, налетевшем на него со всего размаху и сбившем его с ног. Теперь даже смерть перестала его страшить и он думал о ней, как о единственном выходе.

Что значили все его разговоры по-эфиру, если он хотел видеть её здесь рядом с собой и говорить с ней, как с женой. Где правда? Почему теперь только, на склоне лет, пришло к нему это утомительное, безумное счастье?.. Он не мог ничего понять, а усталость, как болезнь, мучительно ложилась на его плечи и с каждый днём всё настойчивее требовала от него необходимого отдыха. Он осунулся, похудел и с трудом пересиливал себя, когда шёл в больницу. Теперь его не радовала уже и работа, когда на глазах у

него воскресал, благодаря ему, безнадёжный, обречённый на смерть больной.

Напрасно он старался в больнице бодро взбегать по лестнице к себе в кабинет и шутить с сёстрами. Всё это он делал для людей, и каждый это чувствовал и недоумевал, что сталось с Фёдором Сергеичем.

А у неё в это время стала болеть рука и сделалось воспаление. Вначале она не обратила на это внимания и продолжала спокойно выполнять свою домашнюю работу, надеясь, что воспаление само собою пройдёт. Но боль не унималась и рука всё сильнее и сильнее ныла. Наконец на руке распухнул палец и нестерпимая боль не давала ей спать всю ночь.

Она спросила его по-эфиру, что ей делать. Он в ту же секунду ответил ей: — Приходи в шесть часов ко мне на дом, я посмотрю и сделаю всё, что надо.

В шесть часов вечера она спросила его: — Ты уже дома? — На что он тотчас же ответил: — Да, я дома и жду тебя. — Она сказала Георгию Павловичу, что должна показать руку доктору, что у неё нарыв, и она всю ночь не спала. Георгий Павлович не возражал, и она вышла из дому.

Ей так хотелось как можно скорее дойти, добежать к нему, и она, не ожидая трамвая, быстро пошла пешком. И только, когда трамвай наконец догнал её, она вскочила в вагон. В сущности она не знала даже, как он живёт, какой у него кабинет для приёма больных и много ли он больных принимает.

Она легко взбежала по лестнице на второй этаж и остановилась у двери с его карточкой: « Фёдор Сергеевич Одинцов », прочла она. Неужели она сейчас увидит его? Она нажала кнопку и стала ждать. Одна минута, две... Никто не спешил открывать дверь. Что за история?.. Неужели надо звонить ещё раз?..

Она спросила его по-эфиру: — Что значит, что никто не открывает мне дверь?

Он ответил ей по-эфиру: — Вероятно моя тёща не слыхала, позвони ещё раз.

Она снова спросила его по-эфиру: — Почему ты сам не можешь открыть мне дверь? Ведь ты же слышишь меня и говоришь со мной! .. О-о ... — простонала она, — как всё это у тебя сложно! .. Я звоню. Она нажала кнопку.

Дверь открыла тёща. Она молча указала ей на плетёный из соломки диванчик. В передней было пусто. Засиженная мухами лампочка тускло освещала возле зекрала большую тяжёлую вешалку. На вешалке болталось чье-то выцветшее старое пальто.

Она сняла калоши, свои новые, такие приличные калоши фабрики Треугольник, и села на диванчик. И в ту же минуту откуда-то из тёмного угла прямо к калошам направился большой серый кот. Она не успела прогнать его, как он уже сел на калошу и сделал свое дело. Отвратительный запах заполнил переднюю. Смущённая и испуганная, она не знала, что ей делать. Кот не уходил и тёрся возле второй калоши. И в этот момент, когда она наконец решилась прогнать кота, прицелилась даже больно ударить его, она почувствовала вдруг сквозь дверь кабинета, сквозь стену, всё ту же, откуда-то извне, откуда-то из пространства, жгучую, горячую волну.

Дверь кабинета открылась, и она увидела на пороге доктора. Он улыбался ей и любезным жестом приглашал зайти. Нет, он не чувствовал того, что испытала она сейчас, только-что ...

— Я ничего не понимаю, что со мной, — огорчённо сказала она по-эфиру. Почему ты молчишь и не обьясняешь мне, что с нами?

— Я сам не понимаю, что ... — ответил он ей по-эфиру.

Она молча показала ему на кота.

— О! .. Не доставало ещё этой пакости! .. — Доктор громко, сердитым голосом крикнул тёще: — Уберите вашего кота!

В кабинете, как только она вошла, ей сразу бросился в глаза большой концертный рояль. « Ага, он любит музы-

ку» — подумала она. «Бехштейн!..». И тут же над роялем, на стене, тесно развешенные, одна возле другой, фотографические карточки... — А это зачем? — недоумевая спросила она его по-эфиру. Она увидела здесь серию женских лиц, целую галлерею незнакомых красавиц. — Твой кабинет больше похож на фото-ателье, чем на кабинет врача. — Я не развешивал фотографий и не знаю даже, кто там заснят... — сказал он ей по-эфиру, — это моя тёща, любительница фотографий, развесила их по стенам по своему вкусу и усмотрению.

— Знаешь, что... — сказала она ему по-эфиру, осенённая неожиданной мыслью, — если ты слышишь меня, то уберёшь фотокарточки совсем прочь нз кабинета; свой письменный стол ты поставишь на место, где стоит рояль... Хорошо?.. — Она поймала на себе его пытливый пронизывающщй насквозь взгляд.

— Хорошо, я это сделаю, — ответил он ей по-эфнру.

Она показала ему больную руку с распухнувшим пальцем. Он вннмателно осмотрел руку и, с серьёзным видом, сказал:

— Ну, что ж, прндётся отрезать палец.

Она поймала весёлый огонёк в его глазах и поняла, что он шутит.

— Я не боюсь вас!.. — задорно блеснули ему в ответ её глаза.

Он перевязал руку и сказал, чтоб она пришла к нему завтра в это же время.

В передней уже кто-то нетерпеливо кашлял, и хриплый голос тёщн бурчал:

— Вам по-русски говорят: снимите калоши! — И хриплый, не менее чем у тёщн, голос отвечал: — По-русски... По-русскн... Так и поспешу доставлять удовольствне вашему коту!

На другой день, ровно в шесть, она была уже у него. Он сам открыл дверь. В кабинете она увидела полную перестановку: пнсьменный стол стоял не месте рояля, рояль стоял на месте письменного стола. Растерянно, пораженная

перестановкой, она остановилвсь на пороге и с восторгом смотрела на доктора. Значит, он услышал её просьбу. — Спасибо, мой дорогой! — сказала она ему по-эфиру.

— Самый счастливый человек в свете это я! — ответил он ей по-эфиру.

Но вот, однажды, она не получила ответа от доктора по-эфиру. Он слышал её, но молчал. Да и о чём мог он говорить, если знал, что сам он болен и тяжело болен.

— Вы слышите или нет, что я говорю вам?.. спрашивала она.

Он молчал.

Тогда она устремилась на почту, звонить ему по-телефону. Возле почты она остановилась, но, решившись, зашла на почту и набрала номер его домашнего телефона. Какое счастье, что она может позвонить ему!.. Она смотрела на трубку, но не решалась взять её в руки... А вдруг он болен!.. Что тогда?.. И она не взяла трубки.

Предчувствие, что с ним случилось несчастье, сжало её сердце, и она спросила его по-эфиру:

— Скажи, что с тобой?.. Я боюсь, что ты болен... Скажи мне...

Он ответил не сразу, каким-то сдавленным, не своим голосом:

— Я болен, боюсь, что тиф...

Тогда она побежала к своему брату, врачу, хорошо знакомому с доктором. Брат сказал, что он сам уже несколько дней навещает доктора, но не хотел её волновать, что состояние его очень тяжёлое, врачи думают, что начало тифа.

Но у доктора оказался острый септический остеомиэлит.

Неделями тянулась мучительная неизлечимая болезнь, и врачи поочерёдно дежурили у его постели. И все они, зная о небычайном романе доктора с ней, удивлялись, что она не приходит его навещать. Но она не раз, вся в слезах, подходила к больнице, но так и не решилась войти к нему.

И никто не знал, что она сама, лучше чем кто-либо знала всё о его переживаниях: он говорил с ней по-эрифу. Он говорил даже в те критические минуты, когда душа его уже покидала свою временную земную оболочку. Он говорил и дальше, когда его бессмертное « Я » было ещё подавлено непривычным сознанием, что он уже навеки утратил своё физическое тело, и как, постепенно, он привыкал и примирялся с таким положением и, в его ежедневном общении с ней звучали уже его обычные, прижизненные душевные движения и интересы. Изо дня в день он приветствовал её по-эфиру и, являясь постоянным свидетелем её семейной жизни, независимо от места и времени, он заботливо следил и продолжает это делать и в настоящее время, за всеми этапами в её жизни и называет её своей единственной, вечной, неповторимой женой.

Уже десятки лет протекли с той пасмурной ранней весны 1934 года, когда так безвременно прервалась земная жизнь доктора, но ежедневное духовное общение между ними не прерывалось и не прекращается и в настоящее время, как и неиссякаемой остаётся их великая взаимная любовь, начало которой было положено одним ранним, морозно-снежным киевским утром, в голодной советской очереди за пайковым хлебом.

Киев 1938
Гейдельберг 1950
Мадисон, Висконсин 1960
Сан Франциско 1968

Лидия Персидская

A. ROSSEELS PRINTING C°
70, rue du Canal — Louvain
☎ (016) 219.62 — Belgium

